
МАРИЯ ШЕФЕР
ЖЕНИХ
на Новый год
18+
НОВОГОДНИЙ РОМАН

Мария Шефер

Жених на Новый год

«Автор»
2026

Шефер М.

Жених на Новый год / М. Шефер — «Автор», 2026

Юмористический любовный роман о фальшивом женихе на Новый год. Медсестра Ника полгода врёт родне про жениха-кардиохирурга, а перед самым отъездом нанятый актёр сбегает Дедом Морозом на корпоративы.Выручает сосед снизу Степан, мастер из "Муж на час", которого Ника только что затопила. Он соглашается сыграть идеального Ростислава по легенде из сорока семи пунктов и едет с ней в саратовское село Ключи. Там их ждут баба Катя, тридцать лет завуч, которая видит всех насквозь, папа, который говорит только "ну", близнецы с тетрадью улик, козёл Депутат, который ест всё, баня, рыбалка, буран и родня, где каждый врёт по-своему. Беда в том, что у сантехника подозрительно точные руки, а изображать влюблённых с каждым днём всё труднее. 18+

© Шефер М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Потоп 6
Глава 2. Аварийный вызов 13
Глава 3. Легенда 20
Глава 4. Встречающие 29
Глава 5. Экзамен 35
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Мария Шефер
Жених на Новый год

Мария Шефер
Жених на Новый год
Новогодний роман
18+

Глава 1. Потоп

Ника
Чат "Родня (Ключи)", 21 декабря, 07:12
Мама: НИКА ЕДЕТ С ЖЕНИХОМ!!! 25-го будут!!!
Тётя Шура: фото где
Баба Катя: Это мой последний Новый год. Хочу благословить.
Гоша: пробью по базе
Кристина: а он точно существует?

В семь двенадцать утра мой телефон завибрировал так, будто внутри него кто-то рожал.

Я нашарила его под подушкой, открыла один глаз и увидела цифру. Сорок три. Сорок три непрочитанных сообщения в семейном чате за четыре минуты. Так бывает только в двух случаях: когда кто-то умер и когда мама узнала новость раньше, чем я успела её смягчить.

Никто не умер. Мама просто проснулась.

Я легла обратно и положила телефон себе на лицо. Экраном вниз. Он продолжал вибрировать у меня на носу, мелко и требовательно, как будто родня стучала мне в переносицу.

"Ника едет с женихом".

Ника действительно ехала. Двадцать пятого. В Верхние Ключи, к бабе Кате. На неделю: первый отпуск за три года, с двадцать пятого по тридцать первое, и заведующая подписала его с таким лицом, будто подписывала помилование. С женихом.

С женихом, которого не существовало.

Точнее, он существовал. Его звали Валера, ему был тридцать один год, он играл Серого Волка в детском театре на Пресне, и я заплатила за него сорок пять тысяч рублей через приложение "Жених на час". В анкете у Валеры было написано: "Сыграю любимого. Знакомство с родителями, свадьбы, корпоративы. Не пью на работе. Есть свой костюм". Валера выучил легенду на восемьдесят процентов, не умел играть на скрипке, но обещал "абсолютную мимику". В четверг в восемь вечера мы встречались под табло на Павелецком вокзале.

А в чате его звали Ростислав Вениаминович. Кардиохирург.

Я сняла телефон с лица и написала: "Едем! Ростислав передаёт всем привет!!!"

Три восклицательных знака. Чем больше врёшь, тем больше нужно восклицательных знаков. Это я знаю профессионально.

* * *

Всё началось в июне. На мамином дне рождения.

Пятьдесят четыре года, ресторан "Волжские зори" в Саратове, сорок гостей, баянист, торт в виде книги с надписью "Оксана, ты прочитана не до конца!". Это я придумала надпись. Я медсестра, но по ночам пишу поздравления за деньги, и родня считает, что раз уж у них в семье есть писатель, пусть пишет бесплатно.

Где-то между горячим и тортом Кристина встала, постучала вилкой по бокалу и объявила, что ждёт ребёнка. Все закричали, тётя Люба заплакала, дядя Толя выпил стоя. Федя, Кристинин муж, покраснел и чуть не упал в салат. А потом тётя Шура повернулась ко мне. Медленно. Как танковая башня.

- А ты, Ника?

И весь стол повернулся вместе с ней.

Сорок человек. Баянист. Официант с подносом. Даже торт, по-моему, посмотрел на меня с осуждением.

Мне было двадцать девять лет. Я седьмой год жила в Москве и седьмой год работала медсестрой в кардиологии Восточной больницы, сутки через трое. Ещё я писала по триста поздравлений в декабре и по сто восемьдесят в марте, потому что на зарплату медсестры в

Москве живут только фикусы. У меня была однушка у метро "Бабушкинская", стиральная машина четырнадцатого года и фикус по имени Аркадий, который не цвёл из принципа. У меня не было ни мужа, ни ребёнка, ни даже приличного бывшего, которого можно было бы предъявить как "ну, у нас не сложилось".

- Ты ж в больнице работаешь, - сказала тётя Шура. - Там же врачей как грязи. Неужели ни одного не подобрала?

Мама вздохнула. Тем самым вздохом. Мама очень хотела, чтобы я стала врачом. Я недобрала два балла на лечебный факультет, пошла в медколледж, и мама до сих пор говорит про это так, как говорят про ушедший автобус: "Ну ничего, будет следующий". Следующим, видимо, должен был стать врач. Хотя бы в мужья.

- Я помолвлена, - сказала я.

Я не собиралась этого говорить. Оно само выпало. Как вилка.

Тишина за столом была такая, что баянист перестал растягивать меха.

- С кем? - спросила мама. Шёпотом.

- С хирургом, - сказала я. И, раз уж падать, то с размахом: - С кардиохирургом.

Кардиохирурги у нас в больнице живут на седьмом этаже. Я езжу с ними в лифте каждую смену: зелёные костюмы, усталые лица, стаканчик кофе в руке. На нас, медсестёр из кардиологии, они смотрят, как на мебель. Боги. Если уж врать, то про бога.

- Сколько получает? - спросила тётя Шура.

Мама заплакала. От счастья. Она так плачет: громко, с икотой и сразу всем телом. Через пять минут об этом знал весь ресторан, через час - салон "Локон", где мама работает, а к вечеру, по-моему, весь саратовский автобусный парк, потому что там работал папа, пока не ушёл на пенсию.

Дальше было как с открытками. Одна строчка тянет другую. Мама спросила, как его зовут, и я сказала "Ростислав", потому что мимо как раз проезжала маршрутка с рекламой стоматологии "Ростислав-Дент". Мама спросила отчество, и я сказала "Вениаминович", потому что надо было что-то длинное и солидное. Тётя Люба спросила, где он оперирует. Тётя Шура спросила, есть ли у него квартира. Баба Катя по видеосвязи спросила, играет ли он на чём-нибудь, потому что "мужчина без музыки - это недоработка педагога".

Он заиграл на скрипке.

За полгода Ростислав сделал мне предложение на Эйфелевой башне, полюбил Ремарка, стал мастером спорта по теннису, бросил есть лук, заработал аллергию на кошек и обзавёлся родителями в Женеве. Фотографий его лица у меня не было: "врачам нельзя светиться, у них конфиденциальность". Маме я отправляла руки в хирургических перчатках и затылок в синей шапочке. Всё из фотобанка, сто девяносто рублей за снимок. Снимать своих я не могла: у нас за это увольняют, а кардиохирурги ещё и не дают себя фотографировать, у них примета.

К декабрю у меня был документ в заметках. Сорок семь пунктов. Я распечатала его и подписала сверху: "Легенда. Версия 7".

Семь версий. Потому что в шестой я забыла, что Ростислав не пьёт, и рассказала маме, как мы пили глинтвейн на Монмартре.

* * *

В половине одиннадцатого я загрузила в стиральную машину всё, что собиралась взять в Ключи. Зелёное платье для Нового года. Свитер с оленями для бабушки, она любит, когда "по-праздничному". Пижаму с оленями для себя. Нельзя ехать к родне в пижаме без оленей, это я знаю с детства.

Потом села за ноутбук. Двадцать первое было у меня выходным после суток. Нормальные медсёстры после суток спят. А я в декабре подрабатываю: агентство "Открытка-Про" за одно поздравление для банка платит больше, чем больница за ночную смену. На подоконнике мигала гирлянда, жёлтые и синие огоньки по очереди, а рядом с ноутбуком стояла миска с

мандаринами. В декабре я ем их килограммами. Пишешь "Пусть Новый год придёт с добром", а пахнет при этом настоящим Новым годом, кожурой и детством, и открытка выходит честнее.

У меня было восемнадцать заказов на сегодня.

Банк "Резерв-Капитал": тёплое поздравление клиентам, без слова "кредит".

Мясокомбинат "Заря": стихи для открытки партнёрам, обязательно упомянуть "традиции качества".

Управляющая компания "Уют-Сервис": поздравление жильцам, "чтобы не злились из-за отопления".

Я посмотрела на последнее и закрыла глаза. Потом открыла и напечатала:

"Пусть Новый год придёт с добром..."

Это был сороковой раз за декабрь. Я знаю, потому что считаю. Пусть Новый год придёт с добром, с теплом, с уютом, с серебром, с удачей в каждый дом... Я могла бы написать это во сне. Иногда, честно говоря, и писала.

"...и в каждой батарее - тёплый дом"? Нет. "...и с горячей водой в каждый дом"? Ближе. Уют-Сервис будет доволен.

Тут в ванной что-то сказало: "Пш-ш-ш".

Я подняла голову.

"Пш-ш-ш-ш-ш", - сказало что-то ещё раз. Увереннее.

А потом был звук, который я раньше слышала только в документальных фильмах про Ниагару.

Я вбежала в ванную и встала в воду. Сразу по щиколотку. Вода была тёплая, мыльная и пахла лавандовым кондиционером. Она била из-за стиральной машины мощной дугой, прямо в стену, и стекала по кафелю, весело и бодро, как будто давно этого ждала.

- Нет, - сказала я воде. - Нет, нет, нет. Ёлки зелёные!

Вода не послушалась.

Я схватила полотенце и попыталась заткнуть. Чем-то. Куда-то. Полотенце вырвалось у меня из рук и шлёпнулось мне на голову. Я схватила второе. Струя ударила меня в живот. Футболка "Саратов - столица Поволжья" прилипла ко мне, как вторая кожа. Я кинулась выдёргивать вилку из розетки, потому что вспомнила, что вода и электричество - это плохо, это я помнила со школы, по физике у меня была четвёрка. Машина замолчала. Вода - нет.

Кран. Где-то должен быть кран. В любой квартире есть кран, который всё перекрывает. Я жила здесь пять лет и ни разу его не видела.

Я позвонила в управляющую компанию. Ту самую, "Уют-Сервис", которой я час назад писала про горячую воду в каждый дом.

- Аварийная служба, - сказал женский голос. - Ожидайте, вы девятая в очереди.

Девятая. На девятом этаже. В голове у меня, как всегда в панике, сама собой сложилась открытка: "Пусть в новом году вода течёт только туда, куда вы ей разрешите". Хорошая строчка. Надо записать.

В дверь позвонили.

Потом постучали. Потом, судя по звуку, стукнули кулаком.

Я пошлёпала открывать. С полотенцем на плече. В мокрой футболке. С телефоном, из которого играла музыка ожидания: "Подмосковные вечера" в аранжировке для синтезатора.

На пороге стоял мужчина.

Высокий. Очень. Мне пришлось поднять голову, как на памятник. В синем рабочем комбинезоне, тёмная футболка под ним, на кармане вышито "Муж на час", а на груди, белыми нитками, фамилия: "БУРЦЕВ". Тёмные волосы, мокрые. На плечах мокрые пятна. Щетина дня на три. Глаза тёмно-серые, злые и очень уставшие. В руке разводной ключ. Большой.

- Где кран? - спросил он.

- Какой кран?

Он посмотрел на меня. На полотенце. На футболку. На воду, которая уже выползала из ванной в коридор и подбиралась к его ботинкам.

- Тот, который перекрывает вашу Ниагару, - сказал он. - Я ваш сосед снизу. Восьмой этаж. У меня с потолка льёт, как в аквапарке. Пустите.

Я посторонилась.

Он прошёл в ванную, не разуваясь. Глянул на машину, на струю, на меня. Присел у унитаза. Открыл маленькую пластиковую дверцу в стене, которую я пять лет считала декоративной. Там были трубы. И краны. Красные и синие, как в детском конструкторе. Он повернул один. Четыре секунды. Я считала.

Вода остановилась.

Стало очень тихо. Только капало с полотенца у меня на плече и из телефона доносились "Подмосковные вечера".

- Ожидайте, вы седьмая в очереди, - сказал телефон.

Я сбросила звонок.

Он отодвинул стиральную машину. Одной рукой. Как будто это был табурет. Наклонился, вытянул из-за неё шланг. Шланг был серый, резиновый, и в одном месте у него была дыра. Аккуратная, круглая. Как будто его кто-то прокусил.

Он поднёс шланг к глазам. Прочитал маркировку.

- Китай, - сказал он. - Две тысячи четырнадцатый. Вы его когда меняли?

- Никогда.

- Видно.

Он встал. Вода стекала с его ботинок. Он посмотрел на мой пол. На мой коридор. На мой фикус Аркадий, который стоял в луже и, кажется, впервые за пять лет выглядел довольным.

- Сейчас, - сказал он. И ушёл.

Я стояла посреди ванной и не понимала, вернётся он или нет. Может, он пошёл за участковым. Может, за юристом. Может, за топором.

Он вернулся через три минуты. С новым шлангом, металлическим, в оплётке, и с жёлтым ящиком для инструментов. Встал на колени прямо в воду. И начал работать.

Я не знаю, зачем я смотрела. Наверное, потому что не знала, что ещё делать. У него были очень быстрые руки. Не суетливые, а именно быстрые. Он откручивал гайку, как будто она сама хотела открутиться, ему просто было неловко её задерживать. Пальцы длинные, с короткими чистыми ногтями. Он ни разу не посмотрел, куда кладёт ключ. Ключ сам оказывался там, где надо.

Как у пианиста, подумала я. Только с разводным ключом.

Семь минут. Я засекла на телефоне. Он подключил шланг, открыл кран, послушал. Наклонил голову, как будто машина ему что-то шептала. Кивнул.

- Всё, - сказал он. - Стирайте на здоровье. Только сначала воду соберите.

Он поднялся. Мы стояли в ванной вдвоём, и ванная вдруг оказалась очень маленькой. Я раньше не замечала, какая она маленькая. Он почти задевал головой полку с шампунями.

- Спасибо, - сказала я. - Бурцев.

Он посмотрел на свою грудь. На вышитую фамилию. Потом на меня.

- Пожалуйста, - сказал он. - Девятый этаж.

- У меня имя есть.

- У меня тоже. - Он поднял ящик. - Потолок у меня натяжной. Если просто набрал воду, мастер сольёт. Если лопнул, сорок тысяч. Я вечером посмотрю. Счёт под дверь подсуну.

- Сорок тысяч? - Я почувствовала, как у меня холодеют мокрые ноги. - Это за потолок?

- Это за то, что вы пять лет не знали, где у вас кран.

- А вы всегда такой любезный?

- Я с пяти утра на заказах, - сказал он. - Восьмой вызов. В шесть утра на Енисейской у людей стояла канализация. Знаете почему?

- Почему?

- Мандариновые корки. Четыре килограмма. Они думали, что корки растворяются. - Он перехватил ящик другой рукой. - Люди вообще много чего думают. Что шланги вечные. Что краны декоративные. Что Новый год - это праздник.

- А это не праздник?

- Это сезон засоров, - сказал он.

И тут он увидел холодильник.

На моём холодильнике висели стикеры. Жёлтые, двадцать штук, в три ряда. Варианты. "Пусть Новый год придёт с добром". "Пусть Новый год придёт с теплом". "Пусть в каждый дом придёт тепло, и будет на душе светло". Я так работаю: пишу на стикерах и смотрю, какой не тошнит.

Он подошёл. Наклонился. Прочитал. Вслух, с выражением, как читают в школе басню:

- "Пусть Новый год придёт с добром, и с горячей водой в каждый дом".

Я выдернула стикер у него из-под носа.

- Это для управляющей компании.

- Для "Уют-Сервиса"? - Он поднял бровь. - Тогда пишите честно. "Пусть в Новый год придёт к вам в дом мастер с разводным ключом".

- Не в размер.

- Зато правда, - сказал он.

И ушёл.

Дверь он закрыл тихо. Это меня почему-то разозлило больше всего. Как будто даже хлопнуть дверью у меня перед носом было бы с его стороны слишком много внимания.

* * *

Я собирала воду два часа. Тряпками, тазиком, полотенцами. Аркадия пересадила на подоконник, сушиться. Футболку выжала в раковину, надела сухую. Ругалась вслух. На шланг. На Китай. На четырнадцатый год. На себя.

А потом увидела.

На стиральной машине, на крышке, лежала записка. На обороте моего же стикера. Он взял его с холодильника, я даже не заметила когда. Почерк был мелкий, ровный, наклонный. Буквы стояли тесно, одна к одной, как будто их кто-то зашивал.

"Шланг 2014 г. Второй (заливной) тоже. Смените. Кран - за дверцей у унитаза, красная ручка. Б."

А рядом, на полу, на единственном сухом месте у двери, лежали мои полотенца. Он их сложил. Все. Пока я бегала с тазиком. Мокрые, тяжёлые, сложенные вчетверо, аккуратной стопкой, уголок к уголку.

Я стояла и смотрела на эту стопку.

Мне никто никогда не складывал полотенца. Ни один мужчина за двадцать девять лет. Мне дарили цветы, однажды подарили сертификат в спа, Вадик Пряхин в десятом классе подарил мне свою фотографию в рамке. Полотенца мне не складывал никто.

Это ничего не значит, сказала я себе. Он мастер на час. У них профессиональное. Они всё складывают. Трубы, шланги, шкафы из коробок, полотенца.

Я сунула записку в карман. Сама не знаю зачем.

* * *

День прошёл, как проходят все дни двадцать первого декабря у людей, которые пишут поздравления. Мясокомбинат "Заря" получил свои "традиции качества", рифмовать пришлось с "богатства", и я горжусь этой рифмой. Банк "Резерв-Капитал" получил тёплый текст без слова

"кредит" и с тремя словами "забота". Уют-Сервис получил "горячую воду в каждый дом". Я не удержалась.

Чат "Родня (Ключи)" за день выдал двести одиннадцать сообщений.

Мама прислала фотографию плаката. Плакат рисовали близнецы, Сёма и Тёма, на старых обоях, гуашью. "РОСТИСЛАВ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!" Буквы разного размера, "Ж" нарисована задом наперёд, а внизу, мелко, кто-то дописал фломастером: "МЫ СЛЕДИМ".

Баба Катя написала: "Пусть привезёт скрипку. Сыграет на Новый год. Это мой последний Новый год".

Баба Катя говорит это пятнадцать лет подряд. Каждый декабрь. Ей восемьдесят два, она пятьдесят пять лет в сельской школе, тридцать из них завуч, и до сих пор сама ведёт биологию, потому что молодые учителя в Ключи не едут. У неё голос, от которого встают по стойке смирно бывшие двоечники, а им уже по пятьдесят. Она переживёт нас всех. Но скрипку надо было как-то решать.

Тётя Люба написала: "Я фельдшер 28 лет. Задам твоему хирургу пару вопросов. Профессиональных".

Гоша написал: "Пробил по базе. Ростислав Вениаминович, 33 года, кардиохирург - не значится. Шучу. Или нет".

Гоша - мой брат. Инспектор ДПС. У него нет чувства юмора, у него есть служебное чутьё, и это намного хуже.

Кристина написала: "Ника, а ты Ростиславу сказала, что у нас туалет на улице?"

Туалет в Ключах действительно на улице. Кардиохирург из Женевы, мастер спорта по теннису, будет ходить ночью по сугробам с фонариком в деревянную будку.

Валера будет ходить, поправила я себя. Валера из театра на Пресне. Серый Волк. Ему не привыкать.

Я написала Валере: "Не забудь: ты не ешь лук. И у тебя аллергия на кошек. У бабушки кот, его зовут Генерал, он ненавидит мужчин".

Валера не ответил. Ну и ладно. Актёры вечером заняты.

В девять сорок вечера Валера ответил.

"Ника, привет. Слушай, тут такое дело. Меня позвали Дедом Морозом на корпоративы. Газпромовские. Каждый вечер до самого Нового года, тройная ставка. И Снегурочка там моя бывшая, мы, кажется, помиримся. Я не могу упустить. Деньги приложение вернёт в течение 30 рабочих дней. Прости, пожалуйста. Удачи с бабушкой!!!"

И ниже, отдельным сообщением:

"Могу прислать вместо себя коллегу. Но он лысый и ему 52".

Я перечитала три раза.

Тридцать рабочих дней. Это февраль. Двадцать пятое декабря - это через четыре дня. В четверг в восемь вечера Павелецкий вокзал. Завтра у меня последний выходной, послезавтра последние сутки в больнице. Билеты в купе, два места, на моё имя и на имя Валерия Пупкова. Плакат на обоях. Баба Катя и её последний Новый год. Тётя Люба и её профессиональные вопросы. Гоша и его база. Мама, которая рассказала про хирурга даже батюшке.

Я легла на пол. Прямо на ламинат, ещё влажный, пахнущий лавандой.

И закричала. В подушку, которую стащила с дивана. Долго, от всей души. Всё, чему меня научили в школе бабы Кати, и всё, чему не научили.

- Ёлки, - сказала я подушке. - Ёлки. Ёлки-палки. Капец, Ника. Это полный капец.

Снизу постучали.

По батарее. Три раза. Коротко и чётко. Тук. Тук. Тук.

Я замолчала.

Я лежала на полу и слушала. Снизу, сквозь бетон, был слышен телевизор. Хоккей, кажется. Кто-то кому-то забил, комментатор закричал. Потом тишина. Потом шаги. Тяжёлые, неторопливые. Кухня. Чайник.

Восьмой этаж. Бурцев.

Высокий. Очень. Небритый. Без обручального кольца, я видела, у него были голые руки, когда он откручивал гайку. Умеет перекрывать воду за четыре секунды. Умеет складывать полотенца. Ненавидит Новый год. Ему, судя по всему, совершенно некуда спешить.

И у него, между прочим, есть борода. Почти. Дня три.

Жених на час сбежал к Газпрому. А этажом ниже жил муж на час. Я сама видела надпись у него на кармане.

Я подтянула к себе телефон и посмотрела на последнее сообщение Валеры. "Удачи с бабушкой!!!"

Три восклицательных знака. Я же говорю: чем больше врёшь, тем больше нужно.

Я встала. Подошла к холодильнику. Сорвала стикер "Пусть Новый год придёт с добром", перевернула и написала на обороте:

"План Б".

Подумала. Дописала, мелко:

"(урцев)".

И повесила его на холодильник, в самый центр, поверх всех остальных.

Глава 2. Аварийный вызов

Степан

Журнал заказов "Муж на час", мастер С. Бурцев:

"21.12. 05:50. Енисейская, 14, кв. 88. Засор. Причина: мандариновые корки, ок. 4 кг. Клиент: "Мы думали, они растворяются".

21.12. 10:41. Своя квартира. Течь с потолка. Причина: соседка сверху. Шланг 2014 г."

Потолок не лопнул.

Я понял это, когда проснулся в четыре часа дня и посмотрел вверх. Натяжной потолок висел над моей кухней пузырём. Большим, круглым, тугим, как живот. В пузыре лениво переливалась вода с лавандовым запахом. Я лежал на диване и смотрел на этот пузырь, а пузырь смотрел на меня.

Мастер по потолкам приехал бы двадцать девятого. За шесть тысяч. Я взял стремянку, ведро, фен и сделал сам. Отогнул край у стены, подставил ведро, придержал. Вода ушла за двадцать минут. Двенадцать литров. Я посчитал, мне нравится считать то, что можно посчитать. Потом прогрел полотно феном, и оно натянулось обратно. Ровное, белое, как будто ничего не было.

Ноль рублей.

Я сел за стол, взял бланк заявки и написал счёт для Девятого этажа:

"Потолок: слит, цел. 0 р.

Шланг: 1200 р.

Работа: бесплатно".

Подумал и дописал внизу: "Потому что вы орали так, что жалко".

Она действительно орала. Вечером. Я смотрел хоккей, "Ак Барс" проигрывал, и вдруг сверху, сквозь бетонное перекрытие, раздался такой вопль, что я выронил пульт. Женский. Отчаянный. С хорошей дикцией и богатым словарным запасом.

"Капец, Ника. Это полный капец".

Ника, значит. У Девятого этажа есть имя.

Я постучал по батарее три раза. Это международный сигнал всех панельных домов: "Я тебя слышу, ты не одна, но давай потише". Наверху замолчали. Я выключил хоккей и почему-то долго сидел в тишине.

Счёт я так и не подсунул. Положил на холодильник, под магнит. Завтра, решил я.

* * *

В одиннадцать вечера позвонила Даша.

Даша - моя сестра. Ей тридцать, она стоматолог, и она звонит мне только по двум поводам: когда у неё в клинике течёт кран и когда мама что-то задумала. Кран у неё течёт редко, я его чинил.

- Ты сидишь? - спросила Даша.

- Лежу.

- Ложись удобнее. Мама на Новый год позвала невест.

Я закрыл глаза.

- Сколько?

- Три.

- Даша.

- Я не виновата! Я тебе звоню, чтобы ты был морально готов. - Она понизила голос, как будто мама могла услышать её из соседнего района. - Значит, так. Первая - Олеся. Дочка тёти Гали из третьего подъезда. Помнишь, она в пятом классе тебя укусила?

- Помню.

- Она теперь логист. Вторая - Инна. Дерматолог, разведена, у неё своя клиника и злая такса. Мама её нашла через меня, и я себе этого не прощу. Третья - Марго.

- Кто такая Марго?

- Никто не знает, - сказала Даша. - Мама познакомилась с ней в бассейне. Говорит, у неё прекрасная осанка.

Я лежал и смотрел на потолок. Ровный, белый, сухой. Мой единственный сегодняшний успех.

- Я дежурю тридцать первого, - сказал я.

- Ты не дежуришь, - сказала Даша. - Я знаю твой график. У тебя смена двадцать девятого и первого. Тридцать первое ты свободен. Мама тоже знает твой график. Она его распечатала.

Мама. Вера Николаевна. Тридцать лет медсестрой в хирургии. Она умеет добиваться своего у главврачей, у пациентов, у ГИБДД и у сыновей. Последний раз, когда она захотела, чтобы я пришёл на семейный обед, она позвонила в "Муж на час" и заказала мастера на свой адрес. Повесить полку. Именно меня, по фамилии.

- Стёпа, - сказала Даша. Мягче. - Ну приди ты. Посидишь, поешь оливье. Марго тебе поставит осанку. Мама же не со зла. Она просто... ну, ты знаешь. Она хочет, чтобы ты хоть как-то...

Она не договорила. Она никогда не договаривает. Это у нас семейное. Мы все трое знаем, чем кончается эта фраза, и никто её не говорит.

Чтобы ты хоть как-то вернулся. К людям. К праздникам. К тому, кем ты был.

- Спокойной ночи, Даша, - сказал я.

- Ты придёшь?

- Спокойной ночи.

* * *

Двадцать второго я спал до двух.

Это была моя законная половина суток. Я их заработал. Канализацией на Енисейской, затопленным офисом в Медведково, где после корпоратива кто-то спустил в унитаз пиджак, и бабушкой на Полярной, у которой замёрзла труба на балконе и которая весь мой визит держала на руках кота и рассказывала мне про своего покойного мужа. Хороший был муж. Тоже всё умел.

В пятнадцать ноль-ноль в дверь позвонили.

Я открыл в трениках и футболке. На пороге стояла Девятый этаж.

Я её не сразу узнал. Вчера она была мокрая, в футболке с Поволжьем, с карандашом в волосах. Сегодня волосы были распущены. Каштановые, тёмные, ниже плеч, и они немного вились, как будто сохли сами, без всяких фенов. Ресницы накрашены. Губы тоже, но совсем чуть-чуть. Синий свитер. В руках коробка из пекарни внизу, с ценником, и красная картонная папка.

Красивая, подумал я. И сразу подумал: так. Стоп. Это та, которая затопила тебя через потолок.

- Здравствуйте, - сказала она. - Это вам. С капустой.

Она протянула коробку. Пирог. Ценник на коробке: 380 рублей.

- Это за шланг, - сказал я, - или вы ещё что-то затопили?

- Можно войти?

Я посторонился. Она вошла и сразу посмотрела на потолок. Ровный. Белый.

- Он целый, - сказала она с надеждой.

- Пока, - сказал я.

Я не знаю, зачем я это сказал. Счёт на ноль рублей лежал на холодильнике, в полуметре от её головы. Под магнитом в виде помидора. Она его не видела.

Она села на табуретку на моей кухне. Положила папку на колени. Пальцы у неё сжимали папку так, что побелели костяшки. Посмотрела на меня. Глаза карие, тёплые, с золотистым ободком у зрачка. Я это заметил профессионально. Раньше я многое замечал профессионально.

- Мне нужен жених, - сказала она.

Я налил себе воды. Выпил. Налил ещё.

- Я мастер на час, - сказал я. - Не эскорт.

- Я знаю! - Она покраснела. - Я не в этом смысле. Мне нужен жених на неделю. Для родни. В Саратовскую область. Поезд в четверг, в двадцать пятьдесят пять. Я заплачу. Сорок пять тысяч. И потолок. Сорок тысяч за потолок, я помню.

Счёт под помидором лежал и молчал. Я тоже молчал.

- Понимаете, - сказала она и вдохнула, как перед прыжком в воду. И рассказала.

Она говорила минут двадцать. Быстро, сбивчиво, с отступлениями, с жестами и с такими подробностями, что я в какой-то момент перестал пить воду. Мамин день рождения. Кристина беременная. Тётя Шура, которая поворачивается, как танковая башня. "Я помолвлена". Ростислав Вениаминович. Почему Ростислав - маршрутка со стоматологией. Почему Вениаминович - надо было длинное. Эйфелева башня. Скрипка. Ремарк. Аллергия на кошек. Родители в Женеве. Затылок из фотобанка за сто девяносто рублей. Плакат на обоях. Бабушке восемьдесят два, и у неё последний Новый год. Пятнадцатый подряд последний. Брат - инспектор ДПС. Тётя - фельдшер, задаст профессиональные вопросы. Актёр Валера, Серый Волк, тройная ставка, Газпром, Снегурочка, бывшая, помирятся.

- Мне больше некого просить, - сказала она в конце. - Правда. У меня в Москве есть подруги, но у них мужья, и мужья все, извините, не годятся. У одного живот, у другого татуировка "Не забуду мать родную" на всю спину, а у нас баня. У меня в отделении есть медбрат Игорь, но Игорь заикается, когда врёт, а врать придётся много. Врачей просить бесполезно: кто женат, а кто не женат, тот дежурит. А вы... - Она посмотрела на меня. Снизу вверх, хотя сидела. - Я заказывала жениха на час, а ко мне пришёл "Муж на час". У вас на кармане вышито. Я решила, что это знак. Вы высокий. Вы не женаты, у вас нет кольца. Вы умеете перекрывать воду за четыре секунды. И вы, простите, всё равно ненавидите Новый год. Вам всё равно, где его ненавидеть.

Логика была безупречная. Я даже растерялся.

- Нет, - сказал я.

- Почему?

- Потому что я не играю на скрипке. Потому что я ем лук. Потому что у меня смена двадцать девятого. И потому что это бред.

- Это не бред. Это план Б.

- Это бред, - сказал я. - И он развалится в первые пятнадцать минут. Ваш брат пробьёт меня по базе. Ваша тётя-фельдшер спросит, чем стенокардия отличается от инфаркта, и я...

Я остановился.

Она смотрела на меня внимательно.

- И вы? - спросила она.

- И я скажу, что это одно и то же, - сказал я. - И вас выгонят из семьи. Нет.

- Не скажете, - сказала она. - Я вас научу. Я медсестра. Седьмой год в кардиологии, в Восточной больнице. Я вам за ночь в поезде объясню и стенокардию, и инфаркт, и шунтирование. На пальцах.

Медсестра, подумал я. Кардиология.

Я поставил стакан на стол. Очень аккуратно, чтобы не стукнуть.

Медсестра будет учить меня шунтированию. На пальцах. В поезде. Мама бы оценила.

- Нет, - сказал я ещё раз.

Она посидела ещё секунду. Потом встала. Положила красную папку на стол. Рядом с пирогом.

- Почитайте, - сказала она. - Пожалуйста. Если передумаете, поезд в четверг, в двадцать пятьдесят пять, Павелецкий, седьмой вагон. Если не передумаете, просто... выбросьте. Там нет ничего секретного. Там просто враньё. Сорок семь пунктов.

Она ушла. Дверь закрыла тихо. Как я вчера.

* * *

Я съел пирог.

Половину. Стоя, у окна, руками. С капустой и яйцом, ещё тёплый. Я сутки нормально не ел. Потом вытер руки о треники, сел и открыл папку.

"Легенда. Версия 7".

Сорок семь пунктов. Шрифт Times New Roman, двенадцатый кегль, полуторный интервал. Как курсовая.

"1. Ростислав существует. (Это главное.)"

Я засмеялся. Вслух. Один, на своей кухне, над папкой.

Я не смеялся, по-моему, с весны. Даша говорит, что не помнит, когда я последний раз смеялся. Мама говорит, что помнит, и называет дату. Я не стал проверять.

"5. Играет на скрипке. Семь лет музыкальной школы.

8. Не ест лук. Принципиально.

9. Аллергия на кошек.

12. Может сделать операцию в любых условиях. Однажды оперировал в самолёте. (Мама, это правда.)"

Я взял карандаш.

Не знаю зачем. Рука сама взяла. Как берёт ключ.

"14. Ростислав делает коронарное шунтирование по двадцать часов без перерыва. Один".

Я зачеркнул "двадцать часов". Подумал. Зачеркнул "один". Написал на полях, мелко: "Так не бывает. 4-6 часов. Если очень плохо, 8-10. Потом сам уже никакой. И один не оперирует никто".

Посмотрел на то, что написал.

Отложил карандаш.

Она медсестра, вспомнил я. Она знает, что так не бывает. Она написала это не для правды. Для мамы.

Потом взял карандаш обратно.

"19. Не пьёт. Совсем. Даже шампанское на Новый год. Хирургу нельзя".

На полях: "Можно. Если завтра не оперирует".

"22. Познакомились на Патриарших: я уронила Ремарка, он поднял".

"30. Называет меня Ника-клубника".

Тут я отложил карандаш надолго. Ника-клубника. Господи. Я представил, как говорю это вслух, в присутствии инспектора ДПС, и у меня заболели зубы.

Я дочитал до конца.

"47. Ростислав любит Нику больше жизни. (Мама, не плачь.)"

И сидел потом минут десять, глядя на этот пункт.

Потому что это была не легенда. Я вдруг это понял. Это было письмо. Длинное письмо девушки, которая хотела, чтобы её кто-то любил. Чтобы её кто-то поднял, когда она роняет Ремарка. Приносил кофе в постель. Ревновал. Делал предложение не на маркетплейсе, а на башне. Любил больше жизни. Хотя бы на бумаге. Хотя бы для мамы.

Я закрыл папку.

Телефон пиликнул. Даша.

Она прислала фотографию. Мамин стол. Праздничный, уже накрытый, хотя до Нового года было девять дней, мама всегда накрывает заранее, чтобы "посмотреть, как смотрится". Шесть тарелок. На каждой карточка. Мамин почерк, медсестринский, разборчивый, как в истории болезни: "Вера". "Даша". "Стёпа". "Олеся". "Инна". "Марго".

У Марго была тарелка с золотой каёмкой. Видимо, за осанку.

Под фотографией Даша написала: "Это не шутка. Беги".

Я посмотрел на фотографию. Потом на красную папку. Потом на часы. Семнадцать сорок.

Потом набрал диспетчерскую.

- "Муж на час", Жанна, - сказала Жанна.

- Жанна, это Бурцев. Мне нужен Палыч.

- Палыч на вызове. В Отрадном. Там у людей ёлка в стояк упала.

- Как ёлка может упасть в стояк?

- Бурцев, я пятнадцать лет на диспетчерской, - сказала Жанна. - Я уже ничему не удивляюсь. Что тебе от Палыча?

Палыч перезвонил через двадцать минут. Ему пятьдесят девять лет, он работает в фирме со дня основания, у него четыре внука, и он единственный человек в Москве, который любит работать в новогоднюю ночь. Говорит, двойная ставка и никто не пилит.

- С двадцать четвёртого по первое, - сказал я. - Все мои вызовы. Возьмёшь?

- Неделю? Под самый Новый год? - Палыч присвистнул. - А мне что?

- Двадцать третье февраля.

- Фиг тебе, а не двадцать третье, - сказал Палыч. - Двадцать третье я сам себе праздную. Восьмое марта.

- Восьмое марта у тебя жена.

- Вот поэтому и восьмое, - сказал Палыч. - Договорились. А ты куда, Стёп? Ты ж никуда не ездишь.

Я посмотрел на красную папку.

- В Саратовскую область, - сказал я. - Жениться.

Палыч молчал секунд пять.

- Ну ты даёшь, - сказал он наконец. - Ну ты, ёлки, даёшь. Поздравляю. Шланги с собой возьми, в деревне вечно всё течёт.

* * *

Поезд был только в четверг. Я собрался за пятнадцать минут, сразу, чтобы не передумать. Рюкзак, свитер, второй свитер, бритва, зарядка, документы. Подумал и сунул в рюкзак единственную белую рубашку. На всякий случай. Женихи, кажется, ходят в белых рубашках.

Потом посмотрел на жёлтый ящик с инструментами у двери.

Он мне не нужен, сказал я себе. Ты едешь в деревню на неделю изображать кардиохирурга. Тебе не нужны разводные ключи.

Я взял ящик.

Это привычка. Я без него как без рук. Там ключи, лён, фум-лента, две прокладки, гайки, плоскогубцы, фонарик. А под нижним лотком, в старом носовом платке, лежит ещё одна вещь. Я про неё не думаю. Она просто там лежит. Вожу с собой три года. Как другие носят в кошельке фотографию бывшей.

Я не стал её доставать. Закрыл ящик.

Счёт на ноль рублей так и остался на холодильнике, под помидором.

* * *

В девятнадцать ноль-ноль я поднялся на девятый этаж.

Позвонил. Она открыла не сразу. Я слышал, как она идёт к двери, медленно, шаркая, как ходят люди, которые уже ничего не ждут.

Открыла.

Тушь у неё размазалась. Не сильно. Под одним глазом чуть-чуть, под другим чуть больше. Она плакала, понял я. И потом умылась, и снова накрасилась, и снова плакала. За её спиной в коридоре стоял чемодан. Розовый, с наклейкой "Хрупкое". Собранный за два дня до поезда. И пакет, из которого торчала коробка конфет и бутылка "Советского".

Она смотрела на меня. На рюкзак. На жёлтый ящик.

- Я не играю на скрипке, - сказал я.

Она моргнула.

- А на чём играете? - спросила она. Голос был хриплый.

- На нервах, - сказал я. - Профессионально.

Она засмеялась. Это было неожиданно, и для неё, кажется, тоже. Короткий, удивлённый, сорванный смех, как будто внутри у неё что-то лопнуло. Шланг четырнадцатого года. Она закрыла рот ладонью. Потом убрала ладонь.

- Вы серьёзно?

- Условия, - сказал я. - Первое. Ваши сорок пять тысяч оставьте себе. Купите новый шланг. На залив тоже.

- А потолок?

- Про потолок поговорим потом.

Помидор на моём холодильнике, наверное, покраснел ещё сильнее.

- Второе, - сказал я. - Лук я ем. Ваш Ростислав может не есть, а я буду.

- Хорошо.

- Третье. Если ваша бабушка заставит меня играть на скрипке, я сломаю себе руку. Сам. Заранее.

- Хорошо.

- Четвёртое, - сказал я. - Без поцелуев.

Она подняла брови.

- Я и не собиралась.

- Вот и хорошо, - сказал я. - Где ваш Ремарк? Я должен знать, что я поднимал.

Она смотрела на меня ещё секунду. Потом вдруг шагнула вперёд, так быстро, что я не успел отступить. И обняла. Коротко, крепко, лбом мне в грудь, туда, где у меня на свитере было бы вышито "Бурцев", если бы это был комбинезон. Пахло от неё лавандовым кондиционером и почему-то мандаринами.

- Спасибо, - сказала она мне в свитер.

Я стоял с рюкзаком на одном плече и с ящиком в руке и не знал, куда деть вторую руку. Положил ей на спину. Неуверенно. Как кладут ладонь на трубу, чтобы проверить, горячая ли.

Горячая, подумал я.

Она отпустила меня. Отступила. Вытерла глаза. Размазала тушь окончательно.

- Пункт третий, - сказала она. - Ростислав очень сдержанный. Не обнимается при людях.

- А без людей?

- А без людей, - сказала она, - я не писала. - И пошла за чемоданом. - Меня, кстати, Ника зовут.

- Я знаю, - сказал я. - Весь дом знает. Вы вчера очень громко это объясняли.

Она застыла с чемоданом в руке. Покраснела до ушей.

- А вас?

- Степан.

- Степан, - повторила она. Как пробуют незнакомое блюдо. - Стёпа. Нет. Ростислав. Привыкайте. - Она посмотрела на меня, на мои треники, на мою трёхдневную щетину. - Господи. А билет. Билет у меня на Пупкова.

- Я не Пупков, - сказал я.

- Я вижу, - сказала Ника Сорокина. - Это вообще ни разу не Пупков.

До поезда было два дня. Двадцать третьего у неё сутки в больнице, двадцать четвёртого вечером Павелецкий. Сорок семь пунктов легенды. Я посчитал: двадцать три с половиной пункта сегодня и двадцать три с половиной в поезде.

Справимся, решил я. Если не спать.

Глава 3. Легенда

Ника
Чат "Родня (Ключи)", 24 декабря, 21:03
Мама: Вы в поезде???
Ника: да!
Мама: Ростислав рядом??
Ника: рядом
Тётя Шура: пусть скажет что-нибудь голосовым
Ника: он спит
Кристина: в девять вечера?
Гоша: подозрительно

Билет у Валеры был именной.

Я знала это и раньше, просто как-то не думала. Накануне у меня были последние сутки перед отпуском, после них я поспала четыре часа и в тот вечер думала странно, кусками: вот такси, вот Павелецкий, вот табло, вот Степан Бурцев несёт мой розовый чемодан с наклейкой "Хрупкое" так, как будто это его чемодан и он им немного стесняется. И только у турникета на перрон до меня дошло, что наше "что-нибудь придумаем" так ничего и не придумало. Два дня Степан обновлял сайт с билетами, и два дня в нашем поезде не было ни одного свободного места. На паспорт Степана нет ничего. Есть только билет на Валерия Пупкова, который сейчас примеряет бороду для Газпрома.

- Кассы, - сказал Степан. Не спросил. Просто развернулся и пошёл.

До отправления было тридцать восемь минут. В кассе стояла очередь из пяти человек, и все пятеро ехали домой на Новый год и были не в настроении. Кассирша посмотрела на Степана поверх очков и сказала:

- В фирменный на сегодня ничего нет. Плацкарт есть в пассажирский, завтра, в шесть утра.

- Посмотрите ещё раз, - сказал Степан.

Он не повысил голос. Он вообще почти никогда не повышает голос, я это потом поняла. Он просто смотрит. Спокойно и долго. Как будто ждёт, что мир сам поймёт, что был не прав. Кассирша посмотрела ещё раз. Потом ещё. Потом сказала "о".

- Вернули час назад, - сказала она. - Седьмой вагон, купе, место пятнадцать. Нижнее.

Я заглянула в свой билет. Седьмой вагон. Место шестнадцать. Верхнее.

Я купила его для себя. А нижнее, пятнадцатое, - для Валеры. Чтобы актёру было удобно. Чтобы выспался перед ролью. Валера три дня обещал его сдать, "вот прямо сейчас, Ник, вот уже", и сдал час назад, между двумя корпоративами.

И его купил Степан.

- Судьба, - сказала проводница, когда проверяла наши паспорта у вагона. Полная, в форменной шапке набекрень, на шапке брошка-снежинка. На бейдже "Лариса". - Я в рейсах двадцать лет. Если человек сдаёт место, а его тут же покупает другой к той же девушке, это судьба. Проходите, молодые.

- Мы не молодые, - сказал Степан.

- Вы ещё какие, - сказала Лариса.

Вагон у Ларисы был наряженный. По всему коридору, под потолком, тянулась серебряная мишура, на каждой двери купе висел бумажный снеговик, а на титане с кипятком, прямо на краю, стояла крошечная ёлка в горшке, с тремя шариками и гирляндой на батарейках. Гирлянда мигала красным и зелёным. Пахло углём, кофе из пакетиков и мандаринами: кто-то в соседнем купе уже чистил их и складывал кожуру на столике горкой.

Я остановилась у этой ёлки на титане. Сама не знаю почему. Мне вдруг стало так тепло, как бывает только в детстве, когда едешь к бабушке на Новый год и знаешь, что утром будет снег до окон, пироги и подарки под ёлкой.

Только в детстве я не везла с собой фальшивого жениха.

* * *

В купе уже сидели двое.

На нижней полке у окна - пожилая дама в лиловом берете. Маленькая, сухая, с острым носом и глазами, как у воробья, который прицеливается к крошке. Рядом с ней на столике стояли три банки. Огурцы, помидоры и что-то тёмное, похожее на баклажаны. Банки были перевязаны капроновыми колготками, чтобы крышки не слетели.

На верхней полке над ней кто-то уже лежал. Лицом к стене. В синем спортивном костюме. От него пахло пивом, тепло и уютно, как от кота.

- Римма Марковна, - сказала дама и протянула мне руку. Сухую, как пергамент. - Сорок лет кассиром в Саратовском цирке. Я людей насквозь вижу. Вы кто друг другу?

- Жених, - сказал Степан.

- Невеста, - сказала я одновременно.

Римма Марковна посмотрела на нас. На меня. На Степана. На то, как мы стоим: я у двери, он у окна, между нами розовый чемодан, как пограничный столб.

- Ага, - сказала она. - Ну-ну.

Мужчина на верхней полке захрапел. Внезапно, с места в карьер, как будто включили перфоратор.

- Это Николай, - сказала Римма Марковна. - Он с Рязани. То есть он в Рязани сядет, но он уже сел. Он сразу такой.

Поезд тронулся в двадцать пятьдесят пять. Ровно. Москва поплыла назад: огни, огни, стройки, огни, заснеженные гаражи, огни. Я смотрела в окно и думала, что ещё есть время. Можно сойти на первой станции. Можно позвонить маме и сказать, что Ростислава вызвали на срочную операцию. В самолёте. Пункт двенадцать. Он же однажды оперировал в самолёте.

- Давайте, - сказал Степан.

Я обернулась.

Он сидел на своей нижней полке, вытянув ноги через всё купе. Ноги кончались где-то у Риммы Марковны. В руках у него была красная папка.

- Что давайте?

- Экзамен, - сказал он. - Вы ведь хотите меня проверить. У вас на лице написано. Давайте. Пока не поздно сойти.

Римма Марковна поставила локти на столик и подпёрла подбородок кулачками. Как в первом ряду цирка.

* * *

- Как зовут вашу маму? - спросила я.

- Мою или вашу?

- Ростислава.

- Не знаю, - сказал Степан. - У него мама в Женеве.

- Зовут как?

Он заглянул в папку.

- Тут не написано.

Я выхватила у него папку. Пролистала. Тридцать шестой пункт: "Родители Ростислава живут в Женеве". И всё. Как их зовут, я так и не придумала. Полгода. Мама ни разу не спросила. Мама спрашивала, какого цвета у него глаза и ест ли он борщ, а как зовут его маму, не спросила ни разу.

- Элеонора, - сказала я. - Элеонора Карловна.

- Карловна, - повторил Степан. - Она немка?

- Швейцарка.

- А Вениамин?

- Вениамин... наш. Русский. Уехал за ней.

- Романтично, - сказала Римма Марковна.

Я посмотрела на неё. Она посмотрела на меня. Невинно, как воробей.

- Дальше, - сказала я. - Где мы познакомились?

- Вы меня затопили.

- Нет! - Я ткнула пальцем в папку. - Пункт двадцать два. Патриаршие пруды. Я уронила Ремарка, вы подняли.

- Какого Ремарка?

- "Три товарища".

- А я думал, "Триумфальную арку", - сказал Степан. - Там тоже про врача.

Я замолчала.

- Вы читали Ремарка?

- В школе, - сказал он. - Нас заставляли. У нас была суровая учительница литературы, она считала, что мальчикам полезно читать про то, как все умирают.

- И как?

- Полезно, - сказал Степан.

Римма Марковна кивнула. По-моему, она одобряла.

Я перевернула страницу. Дальше шло главное. Медицина. Я полгода боялась этого раздела больше всего. Если что-то и развалит легенду, то вот это: тётя Люба и её "профессиональные вопросы".

- Чем вы занимаетесь? - спросила я. Строго. Как тётя Люба.

- Я кардиохирург.

- Что такое коронарное шунтирование?

Степан задумался. Посмотрел в потолок. Почесал щетину.

- Это когда шунтируют, - сказал он. - Коронарно.

У меня похолодело в животе.

- Вы издеваетесь?

- Нет. А что, неправильно?

- Это... - Я набрала воздуха. Семь лет я каждый день вижу это слово в выписках. - Это когда коронарная артерия забита, и в обход неё вшивают сосуд. Вену из ноги или артерию из грудной стенки. Кровь идёт по шунту, в обход бляшки. Обходной путь. Понятно?

- Вот, - сказал Степан. - Я так и сказал. Шунтируют. Коронарно.

- Вас разорвут. - Я схватилась за голову. - Тётя Люба вас разорвёт. На пельмени. Она спросит про давление, про кардиограмму, про таблетки, про всё, она двадцать восемь лет в ФАПе... А вы скажете "шунтируют коронарно"...

- Можно, я? - сказала Римма Марковна.

Мы оба посмотрели на неё.

- Я сорок лет в цирке, - сказала она. - У нас был фокусник, Аристарх Петрович, он двадцать лет выдавал себя за мага из Бомбея. Знаете, как он не попадался? - Она подняла палец. - Он никогда ничего не объяснял. Его спрашивают: как вы распиливаете женщину? А он смотрит вот так, - Римма Марковна посмотрела на меня так, что мне захотелось распилиться самой, - и говорит: "Это профессиональная тайна". И всё. И люди уважали.

- Профессиональная тайна, - повторил Степан. С удовольствием.

- Это не цирк! - сказала я. - Это моя семья!

- А какая разница? - спросила Римма Марковна.

Я открыла рот. Подумала про маму, тётю Шуру, Гошу с базой и близнецов с плакатом "МЫ СЛЕДИМ". Закрыла рот.

И тут увидела.

На полях моей легенды, рядом с пунктом четырнадцать, был карандаш. Мелкий, наклонный почерк. Тот самый, которым было написано "Шланг 2014 г.". "Двадцать часов" было зачёркнуто. "Один" тоже. А рядом:

"Так не бывает. 4-6 часов. Если очень плохо, 8-10. Потом сам уже никакой. И один не оперирует никто".

Это была правда. Я это знала, я семь лет встречаю их пациентов после операционной. Но я это знала, потому что я медсестра. А он мастер на час.

И у девятнадцатого пункта: "Можно. Если завтра не оперирует".

Я подняла глаза.

- Это вы написали?

- Я.

- Откуда вы знаете, сколько длится шунтирование?

Он посмотрел на меня. Спокойно. Долго. Как кассирше.

- Профессиональная тайна, - сказал он.

Римма Марковна захлопала. Сухими ладошками, тихо, как в цирке, когда номер удался.

- Погуглил, - сказал Степан. - Пока пирог ел.

Я не знаю, поверила я или нет. Наверное, поверила. Мне очень хотелось поверить. Человек, который знает, сколько длится шунтирование, потому что погуглил, - это хорошо. Это помощь. Человек, который знает это сам, - это вопрос. А вопросов у меня в жизни и так было сорок семь.

* * *

В вагоне-ресторане он заказал селёдку с луком.

Он сделал это нарочно. Я видела. Он посмотрел в меню, посмотрел на меня, сказал официантке: "Селёдку. С луком. Лука побольше". И когда принесли, взял кольцо лука, поднял, посмотрел сквозь него на меня, как в подзорную трубу, и съел.

- Пункт восемь, - сказала я.

- Ростислав не ест, - сказал Степан. - Я ем. Мы договорились.

- Вам целовать... - Я осеклась. - То есть. Неважно.

- Пункт четвёртый наших условий, - сказал он. И взял второе кольцо. - Без поцелуев. Значит, мне можно лук.

Логика у него была ужасная. Безупречная и ужасная.

За окном вагона-ресторана было темно, и в темноте плыли огни. Редкие, жёлтые. Деревни. Переезды. Заснеженные будки. Ресторан был почти пустой. Только у буфета сидели два проводника и ели пельмени, и третий, молодой, спал, положив голову на руки.

- Можно вопрос? - сказал Степан. - Не по легенде.

- Можно.

- Почему кардиохирург? Почему не стоматолог, не юрист? Вы могли выбрать кого угодно. Ростислав мог быть кем угодно.

Я крутила в пальцах стакан с чаем. В подстаканнике, с гербом РЖД. Стакан звенел о подстаканник, мелко, как колокольчик.

- Потому что сердце, - сказала я. - Понимаете? Мама всегда хотела, чтобы я была врачом. А я недобрала два балла на лечебный и пошла в медколледж. Медсестра. И стишки пишу. А Кристина замужем. А Гоша в ДПС. А я медсестра со стишками. И мне хотелось... ну... чтобы было что-то серьёзное. Я семь лет меняю капельницы и вожу на каталках пациентов, а сердце в руках держат хирурги. Мне хотелось, чтобы рядом со мной был человек, который держит в руках сердце. Настоящее. Который спасает. Чтобы мама сказала: ого, Ника. Ого.

Он молчал. Смотрел в окно.

- Глупо, да? - спросила я.

- Нет, - сказал он. Тихо. - Не глупо.

И больше ничего не сказал. Но взял третье кольцо лука и положил обратно на тарелку. Не съел.

* * *

Ночью я не спала.

Римма Марковна легла в десять, сняв берет и надев вместо него сеточку. Николай с Рязани храпел, как будто дробил асфальт. Степан лёг на своё нижнее место, не раздеваясь, в свитере, повернулся на бок и заснул мгновенно. Секунду назад лежал с открытыми глазами - и уже спал. Как будто в нём кто-то выключил свет. Так спят люди, которые много лет спали урывками. Я это знаю, у меня папа так спал, когда водил автобус по ночному маршруту.

Я лежала на верхней полке, в пижаме с оленями, и смотрела в потолок, до которого было сантиметров сорок.

Потом слезла и вышла в коридор.

Коридор был длинный, тёмный, с дорожкой на полу и с тусклыми лампами под потолком. Окна были чёрные. А потом не чёрные: снег. Поля. Белые, бесконечные, под луной, и по ним бежала тень от поезда, длинная, с квадратиками окон. Я стояла и смотрела, как бежит наша тень. Где-то в этих квадратиках была я.

- Не спится?

Я вздрогнула.

Степан стоял в двери купе. В свитере, босиком, растрёпанный. Я не слышала, как он проснулся. Он, кажется, вообще просыпался беззвучно.

- Вы же спали.

- Я сплю чутко. Привычка. - Он вышел в коридор и встал рядом. У окна. Не близко. Между нами было сантиметров тридцать и снежное поле. - Боитесь?

- Ужасно.

Он кивнул. Как будто это был нормальный ответ. Как будто бояться было можно.

Мы стояли и смотрели в окно. Проплыл переезд. Шлагбаум, будка, фонарь. У будки стояла маленькая ёлка, наряженная, с гирляндой, и гирлянда мигала в пустоте, для никого. Для поезда.

- Кем вы хотели стать? - спросил он. - В детстве.

- Писательницей, - сказала я. - Романы про любовь. Толстые. Чтобы в конце свадьба и все плачут. Потом врачом, потому что мама очень хотела.

- А стали?

- Медсестрой. И пишу открытки по ночам. "Пусть Новый год придёт с добром". - Я пожала плечами. - Открытка - это почти роман. Только короче. И свадьбы нет.

Он улыбнулся. Я видела в стекле. Улыбка у него была странная: она начиналась не со рта, а с глаз, и до рта доходила не всегда. В этот раз дошла.

- А вы? - спросила я.

Он долго не отвечал. Проплыла станция. Пустая платформа, жёлтый фонарь, вывеска. Я не успела прочитать.

- Хотел чинить людей, - сказал он. - Лет в шесть. У меня мама медсестра, я рос в больнице, сидел у неё в сестринской и рисовал сердечки. Анатомические. С клапанами. Мама показывала, я рисовал.

- А потом?

- А потом понял, что трубы проще, - сказал он. - Трубы не плачут. И у них нет родственников, которые ждут в коридоре.

Я посмотрела на него.

Он смотрел в окно. И лицо у него было такое, как будто он сказал больше, чем хотел. И сейчас сожалеет. Как будто с ним случилось то же, что со мной на мамином дне рождения: выпала вилка.

Я не стала спрашивать. Сама не знаю почему. Наверное, потому что если бы кто-нибудь в ту секунду спросил меня, зачем я полгода врала про Ростислава, я бы сказала правду. А правду в два часа ночи в коридоре поезда говорить нельзя. Она там слишком громкая.

- Идите спать, - сказал он. - Девятый этаж.

- Сами идите, - сказала я. - Восьмой.

* * *

Под Ртищевом, в лесу, поезд затормозил.

Резко, со скрежетом, со звоном банок у Риммы Марковны. Я спала. Потом не спала. Потом поняла, что лечу. Это очень странное ощущение: только что ты лежишь на верхней полке, в тепле, под одеялом, и тебе снится, что баба Катя вызывает тебя к доске, а потом полка кончается, и ты летишь вниз, в темноту, вместе с одеялом и с оленями.

Я не упала.

Меня поймали.

Я даже не поняла как. Вот я лечу, а вот я лежу. Не на полу. На чём-то тёплом, твёрдом и живом, и это тёплое держит меня двумя руками, одной под спиной, другой под коленями, крепко, надёжно, как держат то, что нельзя уронить. И у меня под щекой стучит. Ровно, гулко, быстро.

Сердце, поняла я. У меня под щекой его сердце.

Мы лежали на его нижней полке. Я сверху. Одеяло где-то на полу. Его свитер колол мне щёку. Пахло от него поездом, мылом и, совсем немного, луком.

- Целы? - спросил он. Хрипло. В темноте.

- Кажется.

Он не отпустил.

Секунда. Две. Поезд стоял. За окном шипело что-то, переговаривались голоса, кто-то бил молотком по колёсам. А он не отпускал. И я не вставала. Я лежала и слушала, как у него под свитером стучит. И как этот стук становится всё быстрее, и быстрее, а он лежит неподвижно и делает вид, что спокоен.

Он не спокоен, подумала я. Он вообще не спокоен.

- Пункт третий, - сказал он наконец. Очень тихо. - Ростислав не обнимается при людях.

- Люди спят, - сказала я.

- Римма Марковна не спит.

С соседней полки, из темноты, раздался сухой воробьиный голос:

- Я сплю. Обнимайтесь.

Я засмеялась. Ему в свитер. Беззвучно, всем телом, до слёз. Он тоже засмеялся, я почувствовала это щекой: у него внутри что-то затряслось, как трубы, когда в них пускают воду. Николай с Рязани всхрапнул и перевернулся.

Поезд не поехал.

Степан аккуратно, как ставят на место что-то хрупкое, приподнял меня, помог встать, поднял с пола одеяло, отряхнул и подал мне. Не глядя в глаза. Потом отодвинул занавеску.

За окном не было ни полей, ни огней. За окном стоял лес. Ёлки, огромные, чёрные, до самого неба, и снег лежал у них на лапах такими толстыми пластами, что ветки прогибались, как полки с банками у бабы Кати в погребе. Между ёлками висела луна. Круглая и белая, как плафон в процедурном кабинете.

По коридору застучали шаги, и в нашу дверь стукнули кулаком.

- Граждане пассажиры! - Это была Лариса, в форменном пальто поверх халата и в шапке со снежинкой. - Без паники! Сосна на путях! Ветром повалило. Бригада едет. Стоим два часа, не меньше. Кто курит - в тамбур, кто паникует - ко мне.

- Два часа, - повторил Степан. Так, как читают цифру на манометре.

- Нас же встречают, - сказала я и села на край его полки, прямо на одеяло. - Они придут к поезду. С плакатом. И будут стоять два часа на морозе. Мама, тётя Шура, близнецы... Мама позвонит в РЖД и потребует кардиохирурга обратно.

- Значит, крепче будут ждать, - сказала из темноты Римма Марковна. - Кого долго ждут, того больше любят. Это я вам как кассир говорю.

* * *

Через полчаса в купе стало холодно.

Сначала чуть-чуть, так, что захотелось натянуть одеяло до носа. Потом так, что Римма Марковна надела берет прямо поверх сеточки, а я - куртку поверх оленей. Окно изнутри поросло белыми папоротниками. Николай с Рязани храпел. Ему было тепло изнутри.

В коридоре Лариса с кем-то ругалась по рации, и по голосу было слышно, что рация не помогает.

- Котёл, - сказал Степан. И встал.

- Какой котёл?

- Вагонный. Отопление. Поезд стоит, мороз, вода по трубам не ходит. Где-то перемёрзло. - Он вытащил из-под полки жёлтый ящик. Тот самый. Я ещё на Павелецком удивилась, зачем жениху на неделю разводные ключи. - Сидите здесь.

Я, конечно, не сидела.

Котёл жил в конце вагона, за дверью с табличкой "Служебное помещение". Лариса стояла перед ним в пальто и в варежках и смотрела на него так, как тётя Люба смотрит на плохие анализы.

- Куда?! - сказала она. - Посторонним нельзя!

- Я не посторонний, - сказал Степан. - Я жених.

Лариса посмотрела на него. На жёлтый ящик. На меня в куртке поверх оленей. И отступила.

- Ну, если жених... - сказала она.

Дальше я почти ничего не поняла. Он открыл какой-то лючок, постучал по трубе костяшками пальцев, приложил к ней ладонь, потом ухо, как будто слушал у трубы сердце. Сказал: "Здесь. В тамбуре, под обшивкой. Ледяная пробка". Попросил кипятку из титана и тряпок. Лариса принесла чайник, полотенце с надписью "РЖД" и свою шерстяную кофту, и я даже не удивилась, что кофту. Он обмотал трубу, полил кипятком, подождал, полил ещё. Открутил на чём-то крошечный вентиль, и оттуда сначала зашипело, потом засвистело, потом плюнуло водой ему на свитер.

- Пошла, - сказал он.

И трубы по всему вагону вдруг запели. Забулькали, застучали, загудели, как будто вагон проглотил горячего чаю и теперь грелся изнутри.

- Ёшкин кот, - сказала Лариса. - Двадцать лет в рейсах. Двадцать лет мы в таких случаях ждём бригаду.

- Бригада у вас сосну пилит, - сказал Степан.

Я смотрела на его руки. Я не могла не смотреть. Руки у него в эту минуту были какие-то другие. Не как у мастера на час. Быстрые, точные, без единого лишнего движения, и каждое такое, будто он делал его тысячу раз и каждый раз заново проверял. Я видела такие руки. Не его, другие. Я не вспомнила где.

Потом он долго мыл руки в туалете. Ледяной водой, до локтей, по одной и той же схеме: ладони, тыльная сторона, между пальцами, большие пальцы, запястья. Как у нас в отделении учат на первой неделе. Только у нас так никто не моет. А он мыл.

- Где вы так научились? - спросила я.

- На курсах, - сказал он. - Санитарные нормы. Мастеру положено.

И ушёл в купе раньше, чем я успела спросить, на каких курсах мастеров на час учат мыть руки по три минуты.

* * *

Когда вагон снова задышал теплом, Лариса открыла дверь и опустила подножку.

- Подышите, кто хочет, - сказала она. - Только от вагона ни шагу. Кто уйдёт за ёлку, того не ждём. - Она посмотрела на Степана. - А вас, жених, подождём. Вас хоть до Саратова.

Вышли почти все. Как будто весь вагон только и ждал, когда его выпустят. Люди в куртках поверх пижам, в тапках и в валенках, сонные дети на руках у пап, бабушка с котом в переноске, потому что кот тоже хотел посмотреть. Снег был по колено, синий от луны, и хрустел, как сахар. Кто-то включил на телефоне "Пять минут", и полвагона подпевало.

Римма Марковна спустилась по подножке в лиловом берете и в шубе до пят и сразу, без разговоров, начала катать ком.

- Римма Марковна, вы что?

- Снеговика, - сказала она. - У нас в цирке говорили: если представление сорвалось, давай другое. Помогайте, молодые.

Мы помогли. Снеговик вышел кривой, пузатый, с носом из Ларисиной морковки и с глазами из двух мандаринов. Римма Марковна подумала, сняла сеточку для волос и надела ему на голову.

- Это я, - сказала она. - Через двадцать лет. Пусть стоит, поезда встречает.

Потом все потихоньку разошлись греться. А мы остались.

Наш поезд стоял в лесу, длинный, красный, с жёлтыми окнами, и за каждым окном кто-то жил: пил чай, спал, листал телефон, ссорился шёпотом. Над ним стояли ёлки. Не одна, не две, а сразу весь лес, чёрный и серебряный. А над лесом висели звёзды. Столько звёзд я не видела никогда в жизни. В Москве нет звёзд, в Москве есть фонари.

Степан стоял рядом. Не близко. Сантиметров тридцать. Я уже начала считать, как он.

- Красиво, - сказал он.

Я посмотрела на него. Он смотрел не на звёзды.

Я быстро отвернулась к лесу. В голове у меня, как всегда, сама собой сложилась открытка: "Пусть ваш поезд ломается только там, где красиво".

- Замёрзли? - спросил он.

- Нет, - соврала я. - У меня носки мамины. Шерстяные.

Он молча размотал свой шарф и намотал на меня. Поверх моего. Два раза вокруг шеи, аккуратно, подоткнув концы, как утепляют трубу на зиму. Шарф был тёплый и пах им. И, конечно, луком.

- Пункт третий, - сказала я в шарф. - Ростислав не обнимается при людях.

- Это не объятие, - сказал Степан. - Это теплоизоляция.

Где-то впереди, у головы поезда, завизжала пила, потом что-то ухнуло, и мужской голос закричал на весь лес: "Пошла, родимая!" Локомотив дал гудок, длинный, хриплый, такой, что с ёлок посыпался снег.

- По вагонам! - закричала Лариса. - Жених, невеста, вас что, особо приглашать?

Через два часа после того, как я упала с полки, поезд дёрнулся и поехал.

- Лезьте наверх, - сказал Степан в купе. - И держитесь там за что-нибудь.

Я полезла. Легла. Укрылась. Шарф снимать не стала.

А он, я слышала, ещё долго не спал. Лежал внизу, и я слышала, как он дышит. Медленно. Ровно. Как дышат люди, которые очень стараются дышать медленно и ровно.

Я тоже не спала. Я лежала и думала, что сорок семь пунктов легенды я писала полгода. А главное в ней так и не написала.

Что у Ростислава под свитером стучит сердце. Громко. Как поезд.

Глава 4. Встречающие

Степан

Легенда. Версия 7. Пункт 3:

"Ростислав очень сдержанный. Не обнимается при людях. Это у него профессиональное".

Утром Римма Марковна подарила нам банку огурцов.

Мы стояли в коридоре с вещами, поезд уже полз вдоль заснеженных саратовских окраин: гаражи, трубы, девятиэтажки, на балконах ёлки, привязанные верёвками, чтобы не улетели. Римма Марковна вышла из купе в лиловом берете, с тремя банками в сетке, и одну, с огурцами, вынула и вложила мне в руки.

- На свадьбу, - сказала она.

- Мы не... - начала Ника.

- Я сорок лет в цирке, - сказала Римма Марковна. - Я знаю, кто жених, а кто нет. Вы - нет. - Она ткнула в меня сухим пальцем. - Но будете. Помяните моё слово.

И ушла по коридору. Маленькая, прямая, с двумя банками. Ни разу не обернулась.

Ника смотрела ей вслед. Потом на меня. Потом на банку у меня в руках.

- Это ничего не значит, - сказала она.

- Это огурцы, - согласился я.

Я побрился в поезде. В железном туалете, под стук колёс, одноразовым станком, который купил у Ларисы за сто рублей. Порезался два раза. Ника сказала, что кардиохирурги не бреются под стук колёс и не режутся. Я сказал, что кардиохирурги, как раз наоборот, бреются где придётся и режутся постоянно, потому что спят по четыре часа. Она посмотрела на меня странно. Я сделал вид, что ищу в рюкзаке зарядку.

Надо меньше разговаривать, сказал я себе. Профессиональная тайна. Римма Марковна плохого не посоветует.

* * *

Их было видно с подножки.

Саратовский вокзал, перрон, снег, утреннее солнце, на здании вокзала гирлянды в виде снежинок, которые днём не горели и висели, как сушёные. Народ с сумками, с ёлками, с детьми. И посреди всего этого - плакат.

На обоях. Метра три длиной. Обои были в цветочек, старые, с обратной стороны. "РОСТИСЛАВ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!" Гуашь, красная и зелёная. Буква "Е" в слове "СЕМЬЮ" смотрела в другую сторону. Внизу, мелко, фломастером: "МЫ СЛЕДИМ".

Плакат держали двое мальчишек. Одинаковых. Лет девяти, в одинаковых синих куртках и одинаковых шапках с помпонами. Один держал левый край, другой правый, и оба смотрели на меня. Не на Нику. На меня. Одинаково. Как два прицела.

Поезд опоздал на два часа. Сосна. Потом я узнал, что все два часа они простояли с плакатом на перроне. Минус восемнадцать, ветер с Волги. Держали по двое, по очереди, как почётный караул, и опускать плакат не разрешал Гоша: "А вдруг он из другого вагона выйдет".

- Сёма и Тёма, - сказала Ника шёпотом. - Гошины. Не поворачивайтесь к ним спиной.

- Почему?

- Они фотографируют затылки.

Я спустился с подножки. С розовым чемоданом в одной руке, с банкой огурцов в другой.

И на меня налетела женщина.

Невысокая, полная, в шубе из чего-то коричневого и пушистого, в меховой шапке, с которой падал снег, с огромными блестящими глазами, совершенно мокрыми. В руках у неё был

поднос. На подносе - каравай. Круглый, высокий, румяный, с солонкой в серединке и с косичкой из теста по краю.

- Ростислав! - сказала она. И заплакала. Сразу. Как будто нажали кнопку.

Это мама, понял я. Оксана Петровна. Парикмахер. Салон "Локон". Рассказала про меня всему Саратову, включая батюшку и автобусный парк.

Она сунула мне каравай. Я взял. У меня теперь был чемодан, банка и каравай, и рук не хватало. Ника подхватила банку. Оксана Петровна обняла меня. Вместе с караваем. Каравай хрустнул. Она плакала мне в куртку и говорила что-то, чего я не мог разобрать, кроме слов "наконец-то", "хирург" и "господи".

Пункт третий, подумал я. Ростислав не обнимается при людях.

Я обнял её. Свободной рукой. Осторожно. Она была тёплая, пахла морозом, ванильной выпечкой и лаком для волос, и она так крепко в меня вцепилась, как будто я уже был ей сыном. Мне стало очень стыдно. Сразу, резко, как бывает, когда в темноте наступаешь босой ногой на что-то острое.

Эта женщина полгода ждала. Полгода рассказывала соседкам. Пекла этот каравай, наверное, с пяти утра. А я Пупков. Даже хуже. Я мастер на час с восьмого этажа, которого её дочь уговорила во вторник в три часа дня.

- Мам, - сказала Ника. - Мам. Ты его задушишь.

- Отломи, - сказала Оксана Петровна, отпуская меня. Вытерла глаза варежкой. - Отломи хлеба. Посоли. Так положено.

Я отломил. Посолил. Съел. Каравай был ещё тёплый. Она его, наверное, держала под шубой.

- Вкусно, - сказал я.

И Оксана Петровна заплакала опять. С новой силой.

* * *

Потом были остальные.

Тётя Шура. Высокая, крупная, в норковой шапке, похожей на сугроб, с золотыми зубами и с таким взглядом, каким смотрят на базаре на говядину. Она обошла меня кругом. Буквально. Медленно, как вокруг ёлки.

- Высокий, - сказала она. - Это хорошо. А сколько получает?

- Тётя Шура! - сказала Ника.

Я посмотрел на тётю Шуру. Спокойно. Долго.

- Профессиональная тайна, - сказал я.

Тётя Шура подняла нарисованные брови. Подумала. Кивнула. С уважением.

- Много, значит, - сказала она Оксане Петровне. Удовлетворённо. - Раз тайна.

Римма Марковна, я тебе должен, подумал я.

Потом был Гоша. Брат. Высокий, почти с меня, плотный, в форме ДПС, в шапке с кокардой, с рацией на плече. Он не улыбался. Он протянул мне руку и, пока я её пожимал, сжал. Сильно. Проверяя. Смотрел мне в глаза. Я сжал в ответ. Не сильнее, чем он. Ровно столько же. Это я умею. Когда держишь чужую руку, главное - не победить. Главное - не отпустить.

Гоша разжал первым. Посмотрел на свою ладонь. Потом на мою.

- Руки рабочие, - сказал он. - Для хирурга.

- Для хирурга нужны рабочие руки, - сказал я.

- Ну-ну, - сказал Гоша.

У них это, видимо, семейное. Ну-ну.

Сёма и Тёма опустили плакат. Обошли меня с двух сторон. Я почувствовал на затылке два взгляда, потом услышал, как щёлкнул телефон. Один раз. Второй.

- Затылок есть, - сказал один из них. Тихо. Деловито.

- Записывай, - сказал второй.

Ника стояла рядом со мной и улыбалась. Широко, звонко, слишком весело. Говорила маме, что доехали прекрасно, что в поезде было тепло, про сосну и котёл ни слова, что Ростислав спал как убитый, потому что у него была тяжёлая неделя, двенадцать операций. Голос у неё стал выше. Движения быстрее. Она поправила маме шапку, тёте Шуре шарф, Гоше рацию. Она всё время что-то поправляла, как будто если всё будет ровно, никто не заметит главного.

Я смотрел на неё и думал: она не так говорит со мной. Со мной, в коридоре поезда, в два часа ночи, она говорила тихо. Медленно. Своим голосом.

А тут её голос был открыточный. "Пусть Новый год придёт с добром".

Она очень старалась. Изо всех сил старалась быть дочкой, которой можно гордиться. И от этого у меня что-то сжалось в груди, слева, там, где у пациентов обычно болит, когда они говорят "доктор, вот тут".

Она была без варежек.

Я заметил, потому что она поправляла маме шапку голыми руками, и пальцы у неё были красные. Оставила в поезде, наверное. На верхней полке. Вместе с оленями.

Я снял свои перчатки. Чёрные, рабочие, с утеплителем. Взял её руку. Она замерла на полуслове. Я надел ей одну перчатку. Потом вторую. Перчатки были ей огромные. Пальцы болтались.

Все замолчали.

Оксана Петровна смотрела на перчатки. Тётя Шура смотрела на перчатки. Гоша смотрел на перчатки. Сёма и Тёма смотрели на перчатки и, кажется, что-то записывали.

- Ой, - сказала Оксана Петровна. Шёпотом. И приложила варежку к сердцу.

Ника подняла на меня глаза. Свои. Карие, с золотом. Растерянные.

- Пункт третий, - сказала она одними губами.

- Это не объятие, - сказал я. Тоже тихо. - Это перчатки.

* * *

Дядя Толя ждал на привокзальной площади.

Вернее, ждала "Ласточка". Это был УАЗ-"буханка", зелёный, с вмятиной на боку и с гирляндой, натянутой по периметру лобового стекла изнутри. Гирлянда горела даже днём, разноцветными огоньками, и от этого "Ласточка" была похожа на очень старый, очень весёлый автобус, который едет на ёлку.

Дядя Толя был невысокий, широкий, как шкаф, в тулупе, в шапке-ушанке с одним опущенным ухом, с седой бородой, с усами и с сигаретой. Он посмотрел на меня. На мои руки без перчаток. На Нику в моих перчатках.

- Ну, залезай, Ростислав, - сказал он. - В бане поговорим.

И сел за руль.

Рядом с ним, на переднем сиденье, уже кто-то сидел. Мужчина лет шестидесяти, худой, в старой лётной куртке и вязаной шапке. С обветренным лицом и спокойными светлыми глазами. Он посмотрел на меня через плечо. Долго. Без выражения.

- Папа, - сказала Ника. - Это Ростислав. Ростислав, это папа.

- Ну, - сказал папа.

Это не было вопросом. И не было приветствием. Это было что-то третье. Взвешивание.

Я подумал. Сел на заднее сиденье, напротив него, так, чтобы было видно глаза.

- Ну, - сказал я.

Папа Ники посмотрел на меня ещё секунду. Потом медленно кивнул. Один раз. И отвернулся к лобовому стеклу.

- О, - сказала Ника. Очень тихо. - Он с вами разговаривает.

- Он сказал одно слово.

- Он со всеми молчит, - сказала Ника. - С Вадиком Пряхиным он за двенадцать лет не сказал ни одного "ну". А с вами сказал. Это почти как благословение.

* * *

Дорога до Ключей заняла два часа.

Сначала был мост. Через Волгу. Длинный, почти три километра, Волга под ним лежала белая, замёрзшая, широкая, как поле, по ней тянулись тропинки от рыбацких лунок, и рыбаки сидели на льду чёрными точками. Солнце било в лобовое стекло, гирлянда мигала, дядя Толя курил в форточку и разговаривал с другими водителями. Не по телефону. Вслух. Через стекло.

- Куда ты прёшь, Мерседес ты окаянный, - говорил он ласково, почти нежно. - Куда ты, родной, прёшь. Тут Волга, а не автобан. Ну ехай, ехай. Бог с тобой, ехай.

Оксана Петровна, которая ехала с нами, сзади, рядом с Никой, говорила "Толя!" через каждые две фразы. Дядя Толя говорил "А что, Ксан? Я же культурно". И продолжал культурно.

Потом мост кончился, и началась степь.

Я никогда не видел степь зимой. Она была огромная. Белая до горизонта, ровная, как простыня, и над ней небо - такое же огромное, бледно-голубое, ледяное. Лесополосы шли по ней тёмными нитками. Изредка - деревня. Пять домов, дым из труб, столб с проводами, на столбе ворона. Всё.

- Тут летом, - сказала Ника, глядя в окно, - всё жёлтое. Подсолнухи до горизонта. Я в детстве думала, что это край света. Что дальше ничего нет.

- А что дальше? - спросил я.

- Казахстан, - сказал дядя Толя. - Но там тоже ничего нет.

Ника засмеялась. Своим голосом. Не открыточным. Я посмотрел на неё и увидел, что она сидит в моих перчатках и не снимает их, хотя в "Ласточке" натоплено так, что можно выращивать помидоры.

* * *

Верхние Ключи были похожи на открытку.

Это первое, что я подумал. На Никину открытку. Пусть Новый год придёт с добром.

Улица вдоль оврага, по обе стороны деревянные дома с резными наличниками, у каждого дома сугроб выше забора. Из каждой трубы дым, белый, ровный, прямо в небо, потому что ветра не было. Пахло берёзовыми дровами и, откуда-то, печёным тестом. У сельского клуба, на площади, стояла живая ёлка, огромная, метров десять, вся в гирляндах и в самодельных игрушках из пластиковых бутылок. На ёлке висел плакат: "С НОВЫМ 2027 ГОДОМ, КЛЮЧИ!" У ёлки дети катались с горки на ледянках, визжали, и одна девочка в красном комбинезоне съезжала головой вперёд.

Дом бабы Кати стоял в конце улицы. Последний. Деревянный, синий, с белыми наличниками, с высоким крыльцом. На крыльце, по перилам, висела гирлянда, а во дворе росла ель, настоящая, старая, выше крыши. Голая. Ни одной игрушки, только снег на лапах, пластами. Метров двенадцать, прикинул я. Стремянкой не обойдёшься.

На крыльце стояла бабушка.

Маленькая. Сухая. Прямая, как указка. В чёрной юбке до пола, в вязаной кофте, в пуховом платке на плечах. Седые волосы собраны в узел. Очки на цепочке. Руки сложены на животе. Она стояла и смотрела, как "Ласточка" подъезжает к калитке, и не двигалась. Ждала. Как учительница ждёт у доски, пока класс затихнет.

Ника вылезла первой. Подбежала к крыльцу. Остановилась у ступенек.

- Бабуля...

- Здравствуй, Вероника, - сказала бабушка. Голос у неё был негромкий, ровный и такой, что я непроизвольно выпрямил спину. Пятьдесят пять лет у доски. - Иди в дом. Пироги на столе.

Ника не пошла. Обернулась ко мне.

Я подошёл. С чемоданом и с остатками каравая.

Бабушка посмотрела на меня сверху вниз. Хотя была на голову ниже. Это умеют только завучи и старшие операционные сёстры.

- Ростислав, - сказала она.

- Здравствуйте, Екатерина Ивановна.

- Покажи руки.

Я поставил чемодан. Отдал каравай Оксане Петровне. Протянул руки. Ладонями вверх.

Баба Катя надела очки. Взяла мои руки в свои. У неё были маленькие сухие пальцы, прохладные, очень цепкие. Она перевернула мои ладони. Посмотрела на тыльную сторону. На пальцы. На ногти. Провела большим пальцем по мозоли на указательном, от ключа. По тонкому старому шраму на левом мизинце. Он остался от скальпеля, на третьем курсе, на занятиях в морге, я его давно не замечаю. Она заметила.

Она держала мои руки долго. Все стояли и молчали. Даже дядя Толя заглушил "Ласточку".

- Хирург, говоришь, - сказала баба Катя.

Не спросила. Сказала.

- Говорю, - сказал я.

Она подняла на меня глаза. Поверх очков. Светлые, выцветшие, очень внимательные. Я видел такие глаза у старых профессоров, которые смотрели на студента и уже знали, что он не выучил, но давали ему договорить. Из милосердия. Или из любопытства.

- Ну-ну, - сказала баба Катя.

И отпустила мои руки.

Мне стало холодно. Не от мороза. От того, что я вдруг понял: эта женщина только что прочитала меня, как дневник. От первой страницы до последней. И ничего не сказала.

* * *

Кот вылетел из сеней, когда мы поднимались на крыльцо.

Огромный. Рыжий. Килограммов восемь. Морда как у боксёра, одно ухо порвано, хвост трубой. Он вылетел, как пушечное ядро, и все вокруг шарахнулись. Тётя Шура взвизгнула. Оксана Петровна прижала к себе каравай. Дядя Толя сказал "ёшкин кот" и схватился за руку, где, видимо, остались старые следы.

- Генерал! - сказала Ника. - Генерал, нельзя! Он мужчин ненавидит! Ростислав, назад!

Генерал остановился передо мной. Посмотрел снизу вверх. Жёлтыми глазами. Я посмотрел на него.

Генерал сел. Подумал. Потом встал на задние лапы, упёрся передними мне в колено и громко, хрипло, с присвистом замурлыкал. Как старый трактор, который наконец завёлся.

Тишина на крыльце была такая, что было слышно, как с ели осыпается снег.

- Он дядю Толю в прошлом году до крови подрал, - сказала Оксана Петровна. Шёпотом.

- И батюшку, - сказала тётя Шура.

- И участкового, - сказал Гоша.

Я наклонился и взял кота на руки. Он был тяжёлый, горячий, и он немедленно ткнулся мне мордой в подбородок и замурлыкал ещё громче. Кошки меня всегда любили. Я не знаю почему. Мама говорит, это потому что у меня руки тёплые.

Ника стояла рядом и смотрела на меня с ужасом.

Потом незаметно ущипнула меня за бок. Сильно.

- Пункт девять, - прошипела она.

Пункт девять. Аллергия на кошек.

Я посмотрел на Генерала. Генерал посмотрел на меня. Довольный, как будто это он меня выбрал, а не я его взял.

- Апчхи, - сказал я.

Получилось очень неубедительно. Как будто я прочитал это слово вслух по бумажке.

Баба Катя, стоявшая в дверях, посмотрела на меня поверх очков.

- Неубедительно, - сказала она.

Потом кивнула на голую ель во дворе.

- Ель у нас наряжают все вместе. В воскресенье. Жених тоже.

И ушла в дом.

* * *

Кристина сидела в большой комнате у окна. В огромном вязаном свитере, на животе свитер натягивался, как парус. Она была красивая, круглолицая, румяная, с длинной русой косой, и она очень, очень была беременная. Рядом стоял худой парень в очках и толстовке с надписью про какой-то сервер. Федя. Он смотрел на её живот с выражением человека, который боится, что живот сейчас взорвётся.

- Привет, Ника, - сказала Кристина. Сладко. - Ой, это и есть Ростислав? А на фотографиях он ниже.

- На фотографиях только затылок, - сказала Ника.

- Вот затылок и ниже, - сказала Кристина.

Я её почти не слушал. Я смотрел на живот.

Это происходит само. Я ничего не могу с этим сделать. Три года прошло, а глаза всё равно смотрят, как смотрели. Живот у Кристины был низкий. Опустился. Она сидела, чуть откинувшись, держа руку на пояснице, и иногда, незаметно, морщилась. И дышала чуть чаще, чем надо.

Голова опустилась, подумал я. Срок, говорят, десятого января. Не будет никакого десятого. Неделя, не больше. А может, и меньше.

Я отвёл глаза.

Ты не врач, сказал я себе. Ты мастер на час с восьмого этажа. Ты Ростислав из фотобанка. Не твоё дело.

В комнату вошла женщина лет пятидесяти. Крепкая, в очках, в тёплой жилетке поверх белой рубашки, с короткой стрижкой и с таким же внимательным, цепким взглядом, как у бабы Кати. Тётя Люба. Фельдшер. Двадцать восемь лет в ФАПе. Мать Кристины.

Она посмотрела на меня. На Кристину. На то, куда я только что смотрел.

- Вечером поговорим, - сказала тётя Люба. - Профессионально.

- Буду рад, - сказал я.

Я не был рад.

А баба Катя, которая сидела во главе стола, где стояли пироги с капустой, пироги с яблоками, холодец, солёные грузди и самовар, медный, начищенный, с медалями на боку, - баба Катя налила себе чаю, подула на блюдечко и сказала, не поднимая глаз:

- Жить будете в горнице. Вместе. Мы не в девятнадцатом веке.

Ника уронила пирог.

Я поймал. Машинально. На лету, над самой скатертью. Как поймал её саму ночью под Ртищевом.

Баба Катя подняла на меня глаза поверх очков.

- Хорошая реакция, - сказала она. - Для скрипача.

Глава 5. Экзамен

Ника
Чат "Родня (Ключи)", 25 декабря, 14:20
Тётя Люба: Сегодня проверю твоего хирурга. 25 вопросов. Без подсказок.
Мама: Люба, не позорь!
Тётя Люба: я не позорю, я проверяю
Баба Катя: Пельмени в 16:00. Явка обязательна. Жених лепит.
Сёма: мы тоже придём
Тёма: мы будем наблюдать

Пельмени в нашей семье лепят тридцатого. Это закон. Тридцатого лепят, тридцать первого варят, первого доедают жареными. Так было, когда бабе Кате было двадцать, и так будет, когда нам всем будет восемьдесят.

Но в этот раз баба Катя перенесла пельмени на двадцать пятое. На пять дней раньше закона.

- Чтобы посмотреть, - сказала она. Мне. На кухне. Пока резала лук. Не поднимая глаз. - Как он лепит.

- Бабуля, он хирург. Он не лепит. Он оперирует.

- Вот и посмотрим, - сказала баба Катя, - как он оперирует.

И высыпала лук в фарш.

* * *

К четырём на кухне было девять человек, и кухня от этого стала похожа на улей, в который кто-то включил радио.

Радио действительно играло. Старое, проводное, на стене. Новогодний концерт, песни, которые я знаю наизусть с пяти лет и которые от этого не становятся хуже. На окне висела гирлянда, бабушка вешает её первого декабря и снимает в старый Новый год, ни днём раньше. Огоньки отражались в чёрном вечернем стекле, а за стеклом шёл снег. Медленный, крупный, как в стеклянном шаре, если его потрясти.

Пахло тестом, луком, перцем, мандаринами, которые тётя Шура привезла ящиком с рынка, и печкой. Печка у бабушки белёная, с лежанкой, и зимой она пахнет тёплым кирпичом. Я этот запах узнаю с закрытыми глазами. Это запах Нового года. Не ёлка, не мандарины. Тёплый кирпич.

За столом сидели: баба Катя (во главе, раскатывает тесто, как будто раскатывает план на четверть), мама (режет кружочки стаканом), тётя Люба (с тетрадкой в клеточку, в которой что-то записывала, пока остальные работали), тётя Шура (лепит быстро, грубо, пельмени у неё получаются размером с вареник), Кристина (сидит на табуретке с подушкой, ест мандарины, лепит один пельмень в пять минут и комментирует), я. И Ростислав.

То есть Степан. То есть, для всех, Ростислав.

На подоконнике сидели близнецы. С тетрадью. Один держал тетрадь, другой - карандаш. На обложке тетради было написано: "ОПЕРАЦИЯ РАЗОБЛАЧЕНИЕ. СТРОГО СЕКРЕТНО".

- Ну, - сказала баба Катя и положила перед Степаном стопку кружочков. - Покажи.

Степан посмотрел на кружочки. Потом на бабушку. Потом взял ложку, положил в середину кружочка фарш, ровно столько, сколько нужно, ни граммом больше, и начал лепить.

И кухня замолчала.

Я не знаю, как это описать. Он не лепил пельмени. Он их... шил. Пальцы шли по краю теста мелкими, ровными, частыми защипами, один к одному, как будто по линейке. Шов получался тонкий, плотный, без единой дырочки, и чуть-чуть закрученный, как гребешок. Он сложил пельмень, свёл уголки, прижал. Положил на доску.

Пельмень лежал на доске, как с картинки в "Книге о вкусной и здоровой пище".

Он взял второй кружочек. Третий. Десятый. Они ложились на доску рядами, одинаковые, как солдаты на параде. Тётя Шура перестала лепить свои вареники и смотрела. Мама перестала резать стаканом и смотрела. Кристина перестала есть мандарин.

Баба Катя взяла один пельмень. Поднесла к глазам. Повертела. Посмотрела на шов.

- Где учился? - спросила она.

- В Москве, - сказал Степан. Не поднимая головы. Пальцы шли по краю двадцатого кружочка.

- Это не московский шов, - сказала баба Катя. - Московские лепят, как попало. Я видела. Это... - Она помолчала. - Я пятьдесят пять лет биологию преподаю. Я этот шов в учебнике за восьмой класс показываю. Это у тебя хирургический.

- Профессиональное, - сказал Степан.

- Тёма, - сказал близнец с тетрадью. - Записывай. "Лепит, как зашивает".

- Это хорошо или плохо? - спросил тот, что с карандашом.

- Пока непонятно. Пиши в "непонятное".

Я посмотрела на Степана. На его руки.

Конечно, хирургический, подумала я. Он же играет хирурга. Он же видел в "Склифе". Он же гуглил. Он просто очень хороший актёр. Лучше Валеры. Валера бы лепил вареники, как тётя Шура.

Где-то внутри, тихо, как будто кто-то на дальнем конце вагона уронил ложку, звякнуло: а если нет?

Я сделала вид, что не слышу.

* * *

К половине шестого на столе лежало четыреста двенадцать пельменей. Сто восемьдесят из них были Степановы. Я знаю точно, потому что близнецы пересчитали и записали.

Баба Катя велела выносить на мороз.

Это тоже традиция. В Ключах пельмени не морозят в морозилке, у бабушки морозилка маленькая, там лежат сало и мясо на всю зиму. Пельмени выносят на крыльцо, на досках, и ставят на перила, на лавку, на бочку, и они за час становятся каменными, звонкими, и их ссыпают в мешок из наволочки, и мешок висит в сенях до тридцать первого.

Мы вынесли доски вдвоём. Он нёс три, я - одну.

На крыльце было темно, только гирлянда на перилах горела жёлтым. Снег падал. Мороз был такой, что щипало ноздри. Над крышей сарая висела луна, и снег на крыше блестел синим. В соседнем дворе, у тёти Любы, лаял Пельмень. Наш пёс. Его так зовут. Его назвали Пельмень, потому что щенком он украл с этих самых досок полсотни пельменей и спрятал в сугробе.

Я поставила доску на перила. Руки у меня были в муке и в фарше, и мороз сразу вцепился в мокрые пальцы. Я затрясла ими, зашипела.

- Дай, - сказал Степан.

Он поставил свои доски на лавку. Взял мои руки. Обе. В свои.

У него были горячие ладони. Я не понимаю, как можно на таком морозе иметь горячие ладони. Он сложил мои пальцы вместе, накрыл своими, поднёс к лицу и подышал. Тепло, медленно. Пар шёл у него изо рта и обволакивал мои пальцы.

Я стояла. Не шевелилась.

Снег падал ему на волосы, на ресницы. Гирлянда мигала. Где-то за стеной, в доме, мама засмеялась, громко, и тётя Шура сказала что-то басом.

- Тебе так нельзя, - сказал он. Тихо, в мои пальцы. - Без варежек. Ты пишешь руками. Отморозишь, что будешь делать?

- Диктовать, - сказала я.

Он поднял глаза. Улыбнулся. Глазами. До рта не дошло, но глазами - да.

И тут я поняла, что он сказал "ты". В первый раз. Не "вы, Девятый этаж". "Ты".

- Ты сказал "ты", - сказала я.

- Мы помолвлены полгода, - сказал он. - Неудобно на вы. Твоя тётя Шура заметит.

- Тётя Шура заметит, только если это стоит денег.

- Тогда твой брат.

- Гоша заметит, - согласилась я.

Он всё ещё держал мои руки. Пальцы уже согрелись. Даже горели. Он не отпускал.

- Ника! - крикнула мама из сеней. - Ростик! Вы там пельмени морозите или сами?

Он отпустил. Отошёл к лавке. Начал расставлять доски. Ровно, одну к одной.

А я стояла с горячими руками на морозе и не знала, что с ними делать.

* * *

Потом было семейное древо.

Баба Катя устроила его за чаем. Самовар, пироги, клюквенный морс, "Наполеон", который мама пекла по рецепту из журнала "Работница" девяносто третьего года. Баба Катя сняла со стены большую фотографию в рамке. На фотографии были все. Лет пятнадцать назад. Мы стояли во дворе, у ели, в три ряда, как класс на выпускном.

- Кто это? - спросила баба Катя и ткнула в тётю Любу.

- Шура, - сказал Степан.

- Я Люба, - сказала тётя Люба.

- А я красивее, - сказала тётя Шура.

- А это?

- Люба, - сказал Степан. Он смотрел на тётю Шуру.

- Он вас различает только по красоте, - сказала Кристина. - Мама, ты обиделась?

- Я двадцать восемь лет фельдшер, - сказала тётя Люба. - Меня никакая красота не обидит.

И достала из сумки тонометр. И померила давление. Себе.

Степан перепутал ещё Гошу с Федей, хотя Гоша на фотографии был в форме, а Феди тогда ещё не было в семье, ему было одиннадцать, и он жил в Энгельсе. Зато он назвал по имени папу. Сразу. Без запинки.

- Евгений Палыч, - сказал Степан и показал на худого человека с краю, с удочкой.

Папа, сидевший у печки, поднял голову.

- Ну, - сказал папа. Одобрительно. С повышением в конце.

- Двенадцать интонаций, - прошептала я Степану. - Это была шестая. "Молодец, но не загордись".

- А первая какая?

- Первая - "здравствуй". Последняя - "я тебя убью".

- Её часто слышат?

- Вадик Пряхин слышал, - сказала я. - Один раз. Когда мне было шестнадцать и он привёз меня с дискотеки в два ночи.

Близнецы на подоконнике что-то торопливо записали.

А потом Сёма, или Тёма, я их до сих пор путаю, хотя мне двадцать девять и они мои родные племянники, - один из них поднял руку. Как в школе. И баба Катя, не глядя, сказала:

- Говори.

- У нас вопрос к жениху, - сказал близнец. - По легенде.

У меня похолодели только что согретые пальцы.

По какой легенде? Откуда они знают про легенду? Они не могли знать. Легенда была в красной папке, папка у Степана в рюкзаке, а рюкзак...

- Тётя Ника нам рассказывала по видео, - сказал близнец. - Летом. Что он называет её... - Он заглянул в тетрадь. - "Ника-клубника".

Пункт тридцать.

Я написала этот пункт в июле, в два часа ночи, после третьего бокала вина, когда мама спросила, как он меня ласково называет. Я тогда смотрела на корзинку клубники на подоконнике.

- Скажите, - сказал близнец. - Пожалуйста. Мы хотим услышать.

Вся комната повернулась к Степану. Как в июне весь стол ко мне. Танковыми башнями.

Степан поставил чашку на блюдце. Аккуратно. Беззвучно. Повернулся ко мне. Посмотрел. Спокойно, долго. С абсолютно каменным лицом.

- Ника-клубника, - сказал он.

Ровно. Без выражения. Как диктор, который объявляет поезд.

Я хотела умереть. Прямо там. Нырнуть в самовар.

Мама сказала "ой" и прижала руку к сердцу. Тётя Шура сказала "тьфу ты, господи, как в кино". Кристина подавилась мандарином. Близнецы переглянулись, и один из них записал, проговаривая вслух:

- "Говорит... как... робот".

- А вы бы как хотели? - спросил Степан у близнецов. - Чтобы я пел?

- Можно и спеть, - сказала баба Катя. Поверх очков. - У нас на Новый год конкурс в клубе. Пар.

И отпила чаю.

* * *

В семь часов тётя Люба открыла тетрадку.

Мама убрала "Наполеон". Это был плохой знак: "Наполеон" убирают, когда начинается что-то серьёзное. Его убрали, когда Гоша сказал, что разводится, и потом поставили обратно, когда Гоша сказал, что передумал.

- Двадцать пять вопросов, - сказала тётя Люба. - Без подсказок. Ника, ты молчишь. Ты медсестра, я тебя знаю, ты подскажешь.

Я сделала невинное лицо. Под столом моя нога уже стояла наготове рядом с его ботинком.

Я подготовилась. Я медсестра, я знаю, что спрашивают фельдшеры: то, что сами знают лучше всех. Ещё в поезде, пока Степан спал, я написала двадцать вопросов и ответов. А утром мы договорились: если он не знает, я наступаю ему на ногу. Один раз - "молчи, я сама". Два раза - "скажи "профессиональная тайна"". Он сказал "угу". Я надеялась, что "угу" означает "да".

- Первый вопрос, - сказала тётя Люба. - Чем стенокардия отличается от инфаркта?

Я занесла ногу над его ботинком. Набрала воздуха, чтобы сказать: "Ростислав сегодня устал, давайте я".

- При стенокардии, - сказал Степан, - кровоток в сердечной мышце временно недостаточный, но клетки живы. Боль проходит в покое или от нитроглицерина за несколько минут. При инфаркте участок мышцы гибнет, потому что артерия перекрыта. Боль дольше двадцати минут, нитроглицерин не помогает. На кардиограмме свои изменения, в крови растёт тропонин. Это если коротко.

Моя нога так и висела над его ботинком.

Тётя Люба посмотрела на него поверх очков. Поставила в тетрадке галочку.

- Второй. Какое давление считать нормальным?

Я открыла рот.

- Для взрослого - до ста сорока на девяносто, - сказал Степан. - Хотя кардиологи спорят, многие считают, что лучше держать ниже ста тридцати. Зависит от возраста и того, что у человека ещё есть.

Галочка.

- Третий. Человек упал, не дышит. Ваши действия.

- Проверить безопасность, потом сознание и дыхание. Не дышит - вызвать помощь, просить, чтобы кто-нибудь искал дефибриллятор, и начинать компрессии. Тридцать нажатий, два вдоха, если умеешь, а если не умеешь - просто нажимать. Глубина пять-шесть сантиметров, сто-сто двадцать в минуту. Руки прямые, давить всем весом. Не останавливаться, пока не приедут или пока не устанешь так, что не можешь. Тогда меняться.

Мама сказала "господи". Тётя Шура сказала "это ж надо". Папа у печки сказал "ну" с интонацией, которую я слышала только однажды, когда Гоша поступил в школу полиции.

Я так ни разу и не наступила ему на ногу.

Я подняла голову. Посмотрела на Степана.

Он сидел, откинувшись на спинку стула, руки на коленях, и отвечал. Спокойно. Негромко. Не задумываясь. Как отвечают на вопрос "который час". Ни разу не посмотрел на меня. Ни разу не ждал подсказки.

Четвёртый. Пятый. Десятый. Что такое шунтирование, и чем оно отличается от стента. Что делать при носовом кровотечении (не запрокидывать голову, наклонить вперёд, прижать крылья носа, холод на переносицу). Какие таблетки можно давать при температуре ребёнку (тут он сказал, сколько в миллиграммах на килограмм, и тётя Люба, по-моему, перестала дышать). Сколько длится операция на сердце. ("Четыре-шесть часов. Если очень плохо, восемь-десять. Потом сам уже никакой".)

Я узнала эти слова. Это было на полях моей легенды. Карандашом.

На семнадцатом вопросе тётя Люба прищурилась.

- При обмороке, - сказала она медленно, - даём кордиамин. Двадцать пять капель. Правильно?

Ловушка. Даже я поняла, что ловушка. Тётя Люба сказала это слишком медленно и слишком уверенно.

Степан помолчал. Секунду.

- Любовь Петровна, - сказал он мягко. Очень мягко. Как говорят со старшими, которые ошиблись, но которых жалко поправлять при всех. - Кордиамин уже давно не рекомендуют. Его исключили из всех протоколов. Человека в обмороке кладут на спину, поднимают ноги, дают воздух, расстёгивают ворот. Обычно этого хватает. Если нет - вызывают скорую и смотрят, нет ли за обмороком чего-то серьёзного. А кордиамин... - Он чуть улыбнулся. - Ну, его, наверное, и у вас в ФАПе давно нет.

Тётя Люба смотрела на него. Долго.

Потом медленно закрыла тетрадку.

- Нет, - сказала она. - С пятнадцатого года нет. Я проверяла, знаешь ли ты.

- Знаю, - сказал Степан.

- Вижу, - сказала тётя Люба. Сняла очки. Протёрла. Надела. - Ну, хирург.

И мама заплакала. А тётя Шура захлопала, громко, своими большими ладонями, и все захлопали. Кристина захлопала. Федя, который весь экзамен сидел белый, как стенка, потому что при слове "кровотечение" ему уже стало плохо, тоже захлопал. Близнецы на подоконнике смотрели друг на друга и, по-моему, впервые за всё время ничего не записывали.

А баба Катя сидела во главе стола и пила чай из блюдечка. И смотрела на Степана. Поверх очков. Ничего не говорила.

Я сидела рядом с ним. Медсестра. Седьмой год в кардиологии. И из двадцати пяти его ответов я так же хорошо знала, дай бог, пятнадцать.

Я наклонилась к нему. К самому уху.

- Откуда ты это знаешь? - шепнула я.

Он повернул голову. Близко. Я увидела у него на щеке крошечный порез от поездного станка.

- Сериал "Склиф", - шепнул он. - Все сезоны.

- Врёшь.

- Профессиональная тайна.

И отвернулся. И взял кусок "Наполеона", который мама уже поставила обратно, потому что экзамен кончился и всё было хорошо.

А я сидела и думала: "Склиф". Все сезоны. Конечно. Почему нет. Люди смотрят сериалы и всё запоминают. Наш медбрат Игорь выучил весь "Дом-2" и мог назвать, кто с кем жил в каком году.

Но я медсестра. Я знаю, как отвечают по сериалам. Так отвечают ординаторы на утреннем обходе, когда заведующий злой. Так отвечают люди, которые много раз говорили это по-настоящему. Он мог быть кем угодно: фельдшером со скорой, который ушёл в мастера на час, студентом-медиком, который бросил на пятом курсе. Кем угодно.

Кем угодно, только не мастером на час, который погуглил.

Я посмотрела через стол на тётю Любу. Тётя Люба смотрела на Степана. Потом на Кристину, которая морщилась и держалась за поясницу. Потом опять на Степана. И Степан встретил её взгляд и чуть заметно кивнул. Как будто они о чём-то договорились. Без слов. Как двое людей, которые знают одно и то же и не хотят пугать остальных.

Мне вдруг стало неспокойно. Как будто в доме, в котором я выросла, кто-то открыл дверь, которой я никогда не замечала.

* * *

В восемь в сенях загрохотали валенки.

Дверь распахнулась, и в облаке пара появился дядя Толя. Красный, в тулупе нараспашку, в одной майке под тулупом, с берёзовым веником в руке, как с факелом.

- Ростислав! - сказал он. На весь дом. - Баня готова! Сто десять градусов!

- Толя, у него аллергия, - сказала мама почему-то.

- На баню? - удивился дядя Толя.

- На кошек.

- В бане нет кошек, - сказал дядя Толя. - В бане есть только правда. В бане не врут, Ростислав. Пошли.

Степан встал. Спокойно. Как встают, когда вызывают на работу.

Я схватила его за рукав.

- Не ходи, - прошептала я. - Он тебя там... Там Гоша будет. И папа. И они будут спрашивать. Про Париж. Про родителей в Женеве. Про скрипку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.